

ПЛАТОН БЕСЕДИН



ВОСКРЕШЕНИЕ МУМИЙ

ПОВЕСТЬ

I

Подсвеченный крест мелькнул в темноте, и я проснулся. Уличные фонари на бетонных мачтах то ли не работали, то ли администрация вновь сэкономила электричество. И оттого в общем мраке крест, установленный на возвышении, в свете лампы казался ирреальным, словно впаянным в мир. Православный крест, высеченный из белого инкерманского камня.

— Подъезжаем, — говорит водитель, добавляя громкость, и голос Стаса Михайлова заполняет салон авто настолько, что становится душно.

Удивляюсь, как я смог заснуть в этой “песне года”. Подобное мне удавалось лишь в детстве, когда родители, бабушки и дедушки отмечали Новый год, смотрели “Старые песни о главном”, а я, накрывшись подушкой, отключался до первого января, чтобы утром, встав раньше других, доедать салаты, утку с яблоками и блинчики с рыбой.

— Хорошо, — отвечаю водителю, но продолжать разговор не хочу.

Пялюсь в окно, глядяваясь в севастопольскую ночь. Она расступается, и я вижу инкерманскую бухту, ржавые корабли на причале. Хотя то, что они ржавые, я, скорее, знаю, нежели вижу. Выделяется широченная баржа, загруженная металлоломом. И каждый раз, проезжая мимо, я гадаю: это один и тот же металлолом, или его всё же меняют, вывозят, наваливают другой.

БЕСЕДИН Платон Сергеевич родился в 1985 году в Севастополе. Окончил Севастопольский технический университет. Работал фотографом, сомелье, охранником, инженером, маркетологом, копирайтером. В 2012 году вышел дебютный роман “Книга Греха”. Автор книг “Учитель. Роман перемен”, “Дневник Русского Украинца” и др. Живёт в Севастополе.

С левой стороны от дороги виднеются инкерманские штольни, где прятались от римлян первые христиане, спасались от фашистов местные жители, а в новое время обитают бомжи, шарятся диггеры. Большая часть входов заварена решётками, но попасть внутрь при желании можно. Желают. И попадают. Чтобы там затеряться.

Здесь, в инкерманских каменоломнях, жил и славил Бога папа Климент, один из семидесяти апостолов. Он был сослан сюда римскими властями и, найдя осуждённых христиан, работал вместе с ними. Климент оказался столь терпелив и свят, что к нему пришли язычники. Он крестил их, и вскоре языческие капища были разрушены, а христиане попросили новых церквей, и Рим возлюбил, что не убил папу, а только выслал.

Исправляя ошибки, император Траян отправил в Инкерман посланника. Тот умертвил папу Климента, привязал к якорю и хотел утопить без следа, но море отступило, и последователи святого нашли тело учителя. Ещё семь веков царство Посейдона проделывало подобный фокус, чтобы верующие могли поклониться мощам, а затем они были перенесены в Херсонесский храм.

Мне всегда нравилась эта история. Она была одним из доказательств величия родного города. Но мне не нравилось, что доказательства эти почти всегда приходилось искать в прошлом, а настоящее изнашивалось, осыпалось, превращалось в труху, и на крики: “Ау, реставраторы, где вы?” — мало кто отзывался.

Когда родственники, друзья, знакомые приезжали в Севастополь, я обязательно вёз их в Инкерман. Мы поднимались на Монастырскую скалу, шли к Свято-Климентовскому монастырю. В его пещерах одни, с их же слов, напивались благодатью, а другие — сыростью, идущей от каменных стен, откуда взирали лики Христа, Богородицы, апостолов и святых.

Больше всего я любил бывать в монастыре летом; пусть крымская духота забирала витальные соки, но у входа в часовню росли абрикосовые деревья с ароматными нежно-янтарными плодами на узловатых маслянисто-шоколадных ветках. Можно было наестся или нарвать абрикосов домой, чтобы сушить их на чердаке, на пахнущих смолой досках.

— Мне здесь!

Взрагиваю, вспоминая, что в красной “Шкоде-фабиа” с георгиевской ленточкой на багажнике есть не только я и водитель, но и другой пассажир. Тот, благодаря кому, собственно, я и выбрался из Ялты. Он сидит на переднем сиденье в позе сфинкса. Безмолвен, суров.

“Шкода” резко, на износ тормозит. Подаюсь телом вперёд, охаю. Человек-сфинкс бездвижен.

— До вокзала же уговор был! — водитель приглушает Стаса Михайлова, чередующего все производные и падежи местоимения “ты”.

— Передумал.

— Деньги те же! — торопится предупредить водитель.

Сфинкс кивает. Лезет в карман бледной рукой-лопатой, расплачивается. Быстро выходит.

— Спасибо! — только и успеваю крикнуть ему напоследок. Он поднимает руку ладонью вперёд — принято.

Без него я и, правда, мог бы не добраться домой, в Севастополь, из Ялты. Последний рейсовый автобус ушёл, а частники отказывались везти за имеющиеся у меня деньги. Я мыкался по автовокзалу, пахнущему выхлопными газами, елями и прогорклым маслом, разыскивая попутчика, но людей было пустотно мало, а те, что встречались, либо бомжевали, либо ехали куда угодно, но только не в Севастополь. Я злился, отбивался от дёрганой мысли “опоздал, опоздал!”, ругался на собственную нерасторопность, болтливость и поездку в Мисхор, к знакомому писателю.

В тот день меня пригласили на радиоэфир в Симферополь. Я согласился. Надо было только лечь раньше, до полуночи. Чтобы выспаться.

Я давал себе похожие обещания вот уже несколько месяцев, но все они, как удары российских футболистов, шли в “молоко”, проваливаясь на белёсое дно неподъёмными грузами. В этот раз получилось так же.

Редактор затребовал текст, а я никогда не отказывал редакторам, потому что в соседней комнате, делая первые шаги, голосила дочь, и, дождавшись, когда все улягутся спать, — иначе кутерьма, шум, рассосредоточение, — сел за письменный стол, заставленный глиняными и пластиковыми горшками с кактусами и фиалками, чтобы написать статью о Дино Буццати.

В рейсовый автобус на Симферополь утром я всё же успел, восстановленный контрастным душем и двумя чашками кофе, но, смущая пассажиров, больше напоминал не их тридцатилетнего соплеменника, а “машиниста” в исполнении Кристиана Бейла.

На извилистой дороге от улицы Ревякина к Ялтинскому кольцу — здесь снимали “Мерседес” уходит от погони” и “Девятую роту”, а ещё есть музей физика-лирика Геннадия Черкашина — я успел, было, поздороваться с благодатным сном, но на соседнем сиденье девушка с выстриженными висками заёрзала столь активно, что Морфей, осторожно сунувшись пару раз, в итоге решил убраться. И, доехав до симферопольского вокзала, я вывалился из душного чрева автобуса измотанно-вялый.

Но эфир взбудрил, растормошил. Пыжась сохранить подаренное им активное состояние, я добрался в Ялту, где пересел на маршрутку, следующую в Мисхор. Она, травящая солярой, отправлялась скоро, без ожидания. Водитель — икона стиля из девяностых: барсетка, спортивный костюм, мокасины — собрал деньги, поправил российский флажок на “торпедо”, где чёрно-белое фото Моника Белуччи напозло на потрёпанную иконку Девы Марии, и рывками вывел кубик “Газели” на трассу.

Сосед, надувшись пива в кафе “На дорожку”, выставив пузо, обтянутое серой футболкой с надписью “Всё путём” (фото Владимира Владимировича прилагалось), отрубился сразу. Я же рассматривал холмы, поросшие соснами, туями, елями, кипарисами — голосеменными, размножающимися, как мне помнилось из школьного курса биологии, нуцеллусом. От чего-то такие бесполозные, лишние знания вносили в мою жизнь структуру, смысл, и я ценил, оберегал их.

Но скоро перешёл от голосеменных к гологрудым. Две девочки, не любящие бюстгалтеры и любящие свободу, страстно обсуждали личные фото, загруженные с планшета.

Я наблюдал за ними и вспоминал градацию, которой мы пользовались в школе: девочка — девушка — женщина. Кем были создания передо мной? В кожаных курточках, белых маечках, драных джинсиках, интимно-розовых кедах. Широкие брови, выразительные глаза, коммунистически-красные губы. Созданиям было не больше пятнадцати, они учились в школе; первое я понял по их торчащим грудкам, второе — по манере вести себя. Но они давно уже лишились той преграды, что разделяет девичество и взрослую жизнь. Это чувствовалось на уровне флюидов. Да и смотрели они игриво, оценивали матёро, составляя бизнес-планы и упражняясь в жеманстве.

Эти девочки не зашорены, в дневниках у них нет “двоек” и “троек”. Хотя есть вечеринки в стиле Collegefuckfest и достаточно “кислоты” в ночных клубах. Родители для них — деловые партнёры, когда есть настроение — друзья и приятели, а когда что-то нужно — мамочка, папочка.

- “Парус”!
- “Украина”!
- “Калина”!
- “Ялта”!

Выкрикивал названия санаториев и пансионатов водитель. Железобетонные параллелепипеды отличались лишь украшениями на фасаде. Через пятьдесят, сто, двести метров они выныривали из зелени, пыльной, густой, ещё способной маскировать груды мусора.

Останавливаясь, “Газель” то покашливала трубой, то постанывала тормозами, держа интригу, кто спрятался в её дизельном двигателе: девица, приотившая палочку Коха, или карга, измученная ревматизмом. Блуждания по извилистому, узкому серпантину, частые, резкие остановки, выжатые духотой и отдыхом люди и более всего — резкий запах соляры в салоне —

всё это отнимало силы, и я проклял тот день, когда сел в салон этого пылесоса. От того, наверное, и клепал наговоры на девочек.

— Простите, а до Мисхора ещё долго? — спросил я их, чтобы не бужить, не яриться.

— Вообще нет, — улыбнулась та девочка, у которой брови казались шире, — но он что-то та-а-ак долго едет...

— Это да.

— А так минут десять, не больше, — улыбнулась вторая.

Улыбки их были не холодно-вежливыми, как у девиц, которые хотят казаться воспитанными, но человеколюбия не хватает, а вполне искренними.

— Что, кстати, интересного в Мисхоре? — с девочками хотелось беседовать.

Та, что с бровями поуже, принялась рассказывать мне о пихте, посаженной великим советским писателем в парке Мисхора, а та, что с бровями пошире, Римма, заявила, что творчество этого писателя не любит и вообще предпочитает современную прозу.

— Кого же? — не удержался я от вопроса, ожидая услышать набор мягкобложечных фамилий, но она назвала пять-шесть достойных, большая часть из которых мне и самому нравилась.

Я хотел сказать, что как раз сейчас еду к одному из любимых ею писателей, но увидел в этом мальчишескую браваду, хвастовство и смолчал, терзаемый крымским соляным шляхом. Момент выпорхнул — желание осталось. Но водитель крикнул “Мисхор”, и “Газель” закашлялась остановкой.

Выходя из салона, я не понимал, от чего люди выталкивают свои взорванные, распаренные тела столь медленно, неуклюже. Сам я мучительно рвался на свободу и, оказавшись на улице, напротив сине-белой вывески “Автостанция”, задышал, как спасённый утопленник.

Писатель долго объяснял мне, как пройти к даче “Мисхор” — “есть санаторий, а это дача, именно дача, местные знают”, — но я всё равно заблудился, оказавшись у голубого цвета пансионата в восточном стиле “Дюльбер”. Компас треснул, стрелка задёргалась — направление сбилось, хотя дорога была всего одна: она петляла между ржавыми металлическими пластинами и ступенчатыми зарослями, щетинившимися пыльно-зелёной хвоей. А местные, которые, если верить писателю, должны были знать, на самом деле ничего, совсем ничего не знали.

И я, словно кутёнок, льнул к редким прохожим с надоедливыми вопросами, чтобы в итоге, расписовавшись, поругавшись с писателем, — “Как можно так объяснять?” — усесться на забрызганный томатным соком бордюр, предварительно купив себе в магазине “Наталка” баклажку “Львовского”. От пива по нервам, по мышцам растеклась дурная нега, и дежурным вопросом я уже несколько лениво окликнул тучную женщину в забавных оранжевых кроссовках, больше подходящих девочке восьми-девяти лет.

— А, так это в другую сторону! — засмеялась она и детально принялась объяснять путь. — Ориентир — два моста, поняли?

— Ага, два моста, понял.

— Один мост, потом второй и дача. Поняли?

— Ага.

И, глупый, я пошёл в другом направлении. Здесь от центральной мисхорской дороги ответвлялись узенькие, как тропки партизан, дорожки: они ползли вверх бетонными червяками или крошащимися лесенками уходили вниз, легко продираясь сквозь худосочные кипарисы.

Писатель встречал у заявленного ориентира — разлапистой голубой ели с поролоновыми сердцами на ней. Мы поздоровались, обнявшись, и он, кивнув охраннику в жёлто-зелёном камуфляже, провёл меня внутрь.

— Серьёзно здесь, — заполняя паузу, сказал я.

— Так правительственная дача. Раньше здесь украинские политики куролесили, а теперь вот российские. Ну, и я. Меня, кстати, — ухмыльнулся писатель, и лицо его не по годам молодое, гладкое, тут же покрылось сеткой морщин, — в номер Олега Ляшко поселили, так я батюшку звал — освятить...

Писатель вёл меня дальше, ближе к морю. И на замке металлической двери набирал код, чтобы сказать:

— Думаю, сядем на мисхорской набережной, в ресторанчике. Кофе, чай попьём. Как смотришь?

— Можно, — согласился я, хотя “Львовское” требовало повышения алкогольных промилле в крови.

Мы прогулялись по набережной, где раньше, до “русской весны”, в сентябре определённо было куда больше отдыхающих, а сейчас одиноко грустили торговцы сувенирами, печалились фотографы с обезьянками и павлинами, тосковали продавцы вяленой рыбы и эфирных масел — этот сезон, первый российский, был потерян для них. Они понимали это, терпели, напичканные обещаниями и надеждами, но я всё равно старался не встречаться с ними глазами: слишком отчаянно цеплялись дельцы набережной за любую возможность. Впрочем, в безвременье, спрятавшимся между украинской незалежностью и российской сомнительностью, были и свои плюсы: невнятный контроль, налоговые послабления, щадящее отношение полиции, составленной из местных и привезённых с Урала сотрудников.

Кафе и бары закрылись, стьли пустотами. Мы с трудом отыскивали работающий двухэтажный шалман с аляповатой вывеской “Русалка”, выполненной в стилистике советских киноафиш.

— Можно мы сядем на втором этаже? — спросил писатель у конопатого паренька в реглане “Крым наш, няш-мяш”. Прорезиненное изображение Натальи Поклонской на нём было стилизовано под аниме.

— Наверное, — улыбнулся паренёк, распечатывая пачку “LD”.

Официантки, кучковавшиеся за дальним столиком, долго смотрели на нас, не отводя пустого, коровьего взгляда, но не подходили, не принимали заказ. Поёжившись, писатель попросил меню. Отгорвавшись от стойки, к нам подошла официантка с крупным носом-сливой и доверчивыми, цвета аргентинского флага глазами.

Судя по меню, простенькая советская вывеска была обманом — цены оказались вполне европейскими. И заскребалась волнительная мыслишка: а хватит ли денег? Но писатель, натура чуткая, понимающая, предупредительно бросил:

— Я угощаю...

И заказал себе “просто салат: крупно порезанные помидоры, огурцы, ялтинский лук, разумеется” и “минеральную воду, лучше с газом”.

— Лучше с газом — это прям лозунг на референдум 16 марта, — вставил я, и писатель рассмеялся, осоловелое же лицо официантки не изменилось. — А мне травяной чай, — чтобы сильно не тратить чужие деньги, сделал минимальный заказ я.

Расслабился, глядя на купоросно-зелёное у отмели море, разреженное слоновыми тушами бетонных пирсов. Несколько пенсионеров долёживало на топчанах “бабье лето”, а мордатый, косматый дед, выйдя на берег, точно кашалота выбросило, суровился на торговку семечками.

— Местный Проханов, — кивнул на него писатель, и мы, улыбнувшись, невольно вгрызлись в политику, которую заранее договаривались не обсуждать в силу наших несущественных, но всё-таки разночтений.

Быстро заспорили, кипятком слов плеща, о киевской власти и о Донбасе, так фанатично, что я, наплевав на стеснение, заказал себе стопку водки. Писатель улыбнулся и взял ещё один “просто салат”. Я ощутил то, что принято называть неловкостью, она лопалась где-то внутри, словно пузырьки от шампанского, но заказ отменять было уже поздно. И, раскочегарившись, я опрокинул в себя пятьдесят грамм пахнувшей неопределённостью водки.

Когда мы стали раскладывать крымскую ситуацию, я, то ли от пребывания на месте, то ли от выпитого, как бы возвысился над писателем, застопорив его вколоченными аргументами-сваями, и он запросил передышку. Подозвал официантку — пришла не наша, сонная, а живая татарочка с бровками полумесяцем — и затребовал графин холодной водки.

Нам, по крымской традиции, принесли ближе к тёплой, и началась огнедышащая дискуссия, из которой я помню сперва быстро меняющиеся

графины и колкие писательские глаза, взгляд которых он, подаваясь вперёд, вонзал, точно рапиру, а после набережную, где мы орали российский и украинский гимны, смешивая слова, и писатель, обнажив по поясе щуплое тельце работника интеллектуального труда, собирался плыть к статуе русалки, выглядывающей из морской глади, но что-то — или кто-то — удерживало его. Оттого мы стояли, как две туи у входа в сельский ДК, и, устав от политики, просили прохожих рассудить спор — кажется так, — кто значимее для американской литературы: Йейтс или Сэлинджер. Я стоял за Ричарда, но случайные и неслучайные встречи если кого и знали, а чаще нет, то лишь Дэвида Джерома с его оскоминным произведением, сделанным, как и выпитая нами водка, с упоминанием ржи.

Выиграв спор, писатель — в статьях и эфирах такой суровый, рассудительный, велеречивый, а тут молодящийся, бесшабашный, с заниженной планкой социальной ответственности — предложил шлифануть сорокаградусную пивом.

Мы завалились в “Наталку”. Из дешёвенького, какие обычно ставят в сторожках, телевизора, подвешенного в верхнем углу, между консервацией и печеньем, вещала “Россия 24”. Звучало “Украина”, а следом шло нечто отборно-крамольное, паскудное, жуткое. Покачиваясь, мутно плясая в экран, писатель гаркнул, собирая трезвость в пучок:

— Хохляцкое пиво есть?

— Вам какой литраж нужен?

Писатель развёл руки — максимальный. Сутулая продавщица с серёжками-крестиками выставила ему, русскому патриоту, два литра “Львовского”. Он показал — ещё! Я вспомнил, как начинал этот хмельной день в Мисхоре с баклажки “Львовского”; уроборос оказался зелёным змием.

— Это, ну, полный... — разобранно тыча в экран, процедил писатель.

— Ага, — кивнул я, понимая природу его скоротечных симпатий к украинскому. — Корма надо.

— А? — икнул писатель.

— Сухого.

— Вина?

— Нет, — я замотал головой, ужасаясь, что явил ему свою гастрономическую слабость, — кошка.

— Вы определились? — нетерпеливо одёрнула продавщица.

— Корм, вон тот, — я (не отступать же!) показал на яркие пакетики, разложенные на зелёной пластиковой стойке “Kitekat”, — дайте.

— Вам со вкусом рыбы, индейки или говядины?

— Разных, — бросил я деньги на прилавок с красно-белой наклейкой, информирующей, что здесь не продают алкоголь несовершеннолетним. — И посчитайте.

Писатель засопровтивлялся, но я, настояв, расплатился. Мы вышли на улицу, оккупировав зияющую оторванными планками скамейку под низкорослыми акациями.

— На фига? — покосился на кошачий корм писатель.

— Вкусно, — хоть и пьяный, всё же смутился я.

— Шутить?

— Не, реальная тема к пиву, — и, распечатав, я протянул ему пакетик.

К кошачьему корму меня приучил друг Гера. У него в районе Фиолента, там, где памятник Пушкину, была дача. Недавно, когда у его матери диагностировали онкологию и понадобилось лечение в Израиле, её продали. А тогда школьниками мы устраивали в светлом пахнущем травами домике затяжные алкогольные марафоны, этапы которых отсчитывались хождениями в туалет. Деньги наскребались с таким усердием, что жгучей болью зудели кончики пальцев. Экономя на закуске, мы съедали всю заготовленную Гериной, тогда ещё здоровой матерью консервацию, а однажды дошли до сухого кошачьего корма. Он хранился в большом цветастом пакете, и рыжий пушистый кот улыбался с него, как голливудские актрисы в роли дьявола.

— О, это няма! — заявил Гера.

У бурых хрустяшек в виде куриных ножек и рыбок был странный, солоновато-терпкий вкус, казалось, идеально подходивший под пиво. И с тех пор я пристрастился.

— Ну, как? — улыбнулся я, глядя, как писатель пробует кошачий корм.

— Нормально, — уж совсем неприлично захрустел он.

— А я тебе говорил!

Нам, двум захмелевшим котам, оставалось лишь спеть, хоть был и не месяц март. И я вспомнил уместную, так мне казалось, песню из сериала “Друзья”.

— Дранный кот, дранный кот, у тебя пустой живот...

И своим раскатистым, пробуждающим басом писатель вторил:

— Дранный кот, дранный кот...

Но на третьем “Львовском” его вдруг скрутила паника, и он заявил, что в таком виде — “я человек публичный!” — не может шляться по набережной, по Мисхору, по Крыму в принципе, и надо идти — или как уж получится с любой-другой формой передвижения — в номер, пусть там и засела баццлла Ляшко.

На подходе к даче писатель, причёсывая потрескавшийся асфальт кроссовками “New balance”, зазывал остаться, переночевать, и я согласился. Однако вскоре позвонила жена, и голос в трубке, вещающий о грудной дочери, об отсуствии совести у мерзавца-мужа (я не сразу сообразил, что речь обо мне) и головной боли, переходящей в мигрень, развернул планы, как упырь голову, на 180 градусов, хотя я и затратил некоторое бесполезное, как выяснилось потом, время на переубеждение громоподобной супруги. Писатель расстроился. Мы долго прощались, как всегда прощаются пьяные, и в результате лишних объятий и безответственных клятв я пропустил последний рейсовый автобус в Ялту.

— Это знак, это знак! — воодушевился писатель и для чего-то добавил, видимо, вспомнив наш спор о Йейтсе и Сэлинджере: — А Тедди знал!

Я перезвонил жене. Она не брала трубку. Писатель возобновил попытки оставить меня у себя, но мы не прожили с ним столько лет, сколько с женой, и я, отвергнув лёгкие варианты, втиснулся в затормозившую попутку, услышав водительское:

— Блевать не будешь?

Я помахал налитой головой, и гладкая, почти восковая физиономия писателя, всунувшись в окно, вновь крикнула напоследок:

— А Тедди знал!

На ялтинском автовокзале неуклюжей хрюшкой я метнулся к кассам — роллеты на них были закрыты. Я стукнул пару раз кулаком, — вдруг задержалась припозднившаяся кассирша? — но тут же, испуганный и пьяный, одёрнул себя, думая о полиции, которая по неясным, видимо, глубоко экзистенциальным причинам казалась страшнее милиции.

Автобусные платформы остывали от тепла ещё недавно топтавших их ног. Голубые столбы с белыми табличками уходили в цвета смородинового варенья небо. Пищцами SMSками жена подгоняла меня домой.

— Мужчина, куда ехать?

— Довезу!

— Евпатория, Симферополь!

Водилы лениво подходили ко мне, расслабленные, не такие шумные и приставучие, как обычно. Даже их неподражаемые иерихонские голоса, заставляющие либо ехать, либо завидовать глухим, стали нормальными. Водилы знали: этот пьяный, растерянный молодой человек, в зависимости от одежды и степени выпитости тянувший на мужчину, никуда не денется. Я и сам был готов ехать, хоть сейчас, но, называя сумму, всякий раз слышал отказы.

— О, приятель, с такими деньгами — это тебе пешком, дружище...

И я шоркался по вокзальной площади, заключённой меж кипарисовыми холмами, поделённой, как шоколад, на квадратные плитки, вынужденный приставать к ночным прохожим; вдруг едет кто? Сунулся даже к нескольким

спящим, дурно пахнущим людям, закутаным во что-то объёмное, бесформенное, но, не выдержав амбре и поразившись собственной глупости, пнул дурную затею под хвост, и она ускакала в сторону ялтинской набережной, где крымские девчужки состязались с донбасскими беженками за редких, а от того ещё более ценных туристов.

Этим летом они приезжали в Крым преимущественно из России. Хотя в Андреевке, где я, планируя написать несколько объёмных статей о Трифонове и Мо Яне, арендовал то ли домишко, то ли будку, слепленную из фанеры и пластика, на полупустом пляже с копеечной жирной таранькой и свежим разливным пивом — из-за чего, собственно, так и не родилась ни одна статья — мне встретились три серба. С российским флагом в дорожных сумках и русским Крымом в разгорячённых алуштинской граншой сердцах. Один из них, Зоран, читал Павича с Петровичем, и мы обсудили “Хазарский словарь” и “Атлас, составленный небом”, пока Ненад и Душан вспоминали образцовую игру Неманьи Видича в “Спартаке”. Кончилось наше знакомство логично — распитием алкогольных напитков в запрещённых местах и вместе с тем чревато — отравлением местного производства вином, которое, нахваливая, продал нам в приморском скверике говорливый дед с мохнатыми седыми бровями.

Жаль, что на ялтинском автовокзале отзывчивых сербов не оказалось. И, чувствуя промозглый холод, наползающий с покрытых хвойным ковром гор, я трезвел, ругался и отчаивался найти варианты уехать домой. Намечался запасной, авантюристский, план: купить дрянной алкоголь, вновь захмелеть, позвонить жене и, объяснив ситуацию, остаться ночевать, — а на деле слоняться, ошиваться, бродить среди сосен и пальм, — в Ялте, чтобы ехать рейсовым автобусом утром. Но у окошка единственного работающего магазина меня вдруг окликнули:

— Молодой человек, вы в Севастополь едете?

Голос у незнакомца был грудной, сильный. Он произносил слова, точно загонял гвозди, и они застревали в тебе ржавыми загогулинами без шляпок.

— Да, я, а вы, — в желудке заурчало, — водитель?

— Нет, — он улыбнулся, обнажая мелкие, почти фосфоресцирующие в лапёчном освещении зубы, — я пассажир. Такой же, как вы.

— Отлично, — а наконец решил отхлебнуть кофе, — только есть проблема: у меня мало денег.

— Но сколько-то есть? — этот его обыденный, житейский вопрос развеял некую демоничность, морок происходящего. И я назвал сумму. — Тогда едем.

Незнакомец крутанулся на остроносых туфлях, двинулся по направлению к платформам. Кивнул первому встречному водиле, худощавому горбоносому мужичку с жамканной, точно приклеенной к сизоватым губам папирсой. И мы загрузились в красную “Шкоду-фабию”.

Водила, как отыскавшийся брат из индийских фильмов, походил на моего университетского преподавателя социологии Куропаткина. Тот не мог обходиться без сигарет и разговоров. За час двадцать пары Куропаткин ухитрялся пять-шесть раз выйти на перекур, а ставя зачёты, просто распахивал окно и дымил в него. Он постоянно говорил о том, что раньше, в Томском университете, был чемпионом по бокеу, хотя, глядя на него, иссушенного, подкашливающего, с впалой грудной клеткой и желтушными глазами, слыша это, все лишь саркастически ухмылялись. Больше побед на ринге Куропаткин бравировал “амурными похождениями”. Девушки, девушки, девушки, как в песне и гримёрках “Motley Crue”. Много девушек! Но потом — тут Куропаткин тяжко вздыхал и заключал с трагическим пафосом — он женился. “Эх, — ещё сильнее вдавливалась его грудная клетка, — и зачем только?!”

Правда, квадратная Оля Бухарова, которую все называли “Дискавери” за то, что знала всё и даже больше, рассказывала, что на самом деле Куропаткин жену свою обожает, и каждые выходные они выбираются вместе на прогулку по Балаклаве.

Я об этом не знал, хотя общался с Куропаткиным больше других, потому что у него можно было взять почитать интересную книгу. Он рассказы-

вал о своей библиотеке, конечно, не так много, как о боксе и девушках, но достаточно, чтобы моя библиофилия усилилась, и я нашёл в нём и консультанта, и собеседника.

Водила хоть и был похож на Куропаткина внешне, но начитанностью, судя по коротким, грубым, иногда хамским, репликам не отличался. Впрочем, его характеристики — предметов, людей, событий — подчас оказывались точными, ёмкими, мудрыми даже. И незнакомец, расположившись на переднем сиденье в позе сфинкса, то ли отстранённо сидел, то ли внимательно слушал водилу. Я же украдкой рассматривал своего, как написал бы автор любовных романов, спасителя, не понимая, что же такого странного, инфернального отыскал в нём у ларька на вокзале. Необычными были разве что его огромные лопатообразные ладони: необыкновенно широкие у запястий, но сужающиеся к кончикам пальцев.

Однако сейчас, когда человек-сфинкс вышел в Инкермане, я вновь ощутил преддверие исходящей страхом паники. Попутчик удалялся в ночи неправдоподобно быстро, словно не шёл, а летел, как та Маргарита; только ниже, у самой земли, на бреющем полёте.

Я читал о таком. Не только у Булгакова или Гоголя, но и у эзотериков, книги которых, с карандашными *nota bene*, мне советовал и приносил Куропаткин. Хуже — я видел сам нечто подобное. В ночь перед выборами в Верховную Раду 2004 года.

Тогда я работал на одну из политических партий. Вернее, на много партий. Треть страны, зарабатывая, поступала так же, компенсируя то, что Украина недодала за предыдущие годы. В ту ночь я уничтожал, как алкает того закон, следы политической агитации — сдирал плакаты со стен и столбов.

И вдруг ощутил предельный холод. Он навалился, точно гряда окоченевших трупов, и придавил к земле, парализуя. Не пошевелиться, не сдвинуться с места. Я думал, что подобное описывают лишь в книгах или снимают в фильмах, но это была жизнь, пусть и сковывающая мертвецким холодом, пахнущая выхлопными газами, звучащая детским голоском:

— Доброй ночи!

Вообще вся эта ночь была, как бесовский гиньоль. Шпатель, которым я соскабливал ошметки плаката с очередной лоснящейся мордой, обещающей стабильность, благополучие, процветание, упал во влажную траву, и, развернувшись, я увидел старуху, будто выдернутую из босхianских полотен: с крючковатым носом, растрёпанными волосами, колкими глазами. Но голосок у неё был детский:

— Что делаешь, юноша?

— Да вот... — говорить я мог, пусть и звуки эти принадлежали как бы не мне.

Она потянулась ко мне сухопарой коричневатой рукой, и я, не терпевший касаний даже близких родственников, подчинился этому диковинному незнакомому человеку, успев заметить, что ногти её скорее такие, какие бывают у молодых, ухаживающих за собой девиц. Только на мизинце старуха отрастила длинный пожелтевший коготь, *clawfinger*. Им она и дотронулась до меня, пропев:

— Родинка у тебя, юноша, точь-в-точь, как у моего сына...

Я не ощутил ничего, только лёгкое онемение в ногах, какое бывает, когда засидишься, а потом резко встанешь.

— Покойного... умер... а на тридцать шестой день... муж...

И старуха, заржав, как взбрыкнувшая лошадь, бросилась прочь. Она перепрыгнула через зелёные лампочки насаждений и выскочила на дорогу, идущую от Камышового кольца к остановке "Почта". Старуха, оторвавшись от земли, мчалась по разделительной полосе, и машины, не сигналив, объезжали её, точно река огибала гигантский валун.

Больной, лихорадочный, я вернулся домой, а утром мама, взглянув на меня, протянула руку, погладила по щеке:

— Что это у тебя?

Она потёрла кожу, но, тут же подавшись назад, изумилась:

— Родинка?

Я не думал, не отвечал, тратя все силы на то, чтобы гнать от себя холод. И только на следующее утро, пережив ещё одну галлюцинаторную, потную ночь, рассматривая в зеркале чёрную мушку, посаженную на щеке, стараясь уверить себя в том, что она была раньше. Но фотографии свидетельствовали обратное.

С человеком-сфинксом происходит та же дрянная в своей грошовой мистичности история, пахнущая пожелтевшим журналом “Загадочное и необъяснимое”. Но, может, я ещё не проснулся или слишком увяз в собственных болотных мыслях?

— Тебе-то хоть на вокзал? Без сюрпризов?

Нет, этот голос водила реален. На всякий случай лишний раз смотрю на него, убеждаясь. Подёргал бы даже за уши, но не избежать последствий.

— Ага, — отворачиваюсь, нервно ищущим взглядом человека-сфинкса, но он уже вне зоны видимости, исчез. Есть только ночной мрак, кусок дороги, выхваченный светом фар, и почти затемнённый, скрывшийся крест.

Привиделось. Дай-то Бог.

Голодный, как многие из его племени, до словоизлияний водила жаждет бесед, монологов и потому говорит, говорит, матерком, как багром, выхватывая меня из реки дрёмы. Он знает, почему России не нужен Донбасс. Почему Украина отдала Крым. Он слышал всю правду о Яценюке и лично орал на Ветренко. Он возил “уважаемых людей из Москвы” и потому уверен, что “нынешних крымских блядей” в правительстве скоро не будет.

Откуда эта его уверенность на железобетонной основе? Как и уверенность ещё сотен тысяч людей, с таким бесстыдством втохивающих свою правоту, “разделяющую пуще греха”. Готовые разобрать войну, как предложение: вот подлежащее, вот сказуемое. И жертвы — лишь подспорье в нескончаемой брани. Оказывается, всё так просто, когда знаешь, кто виноват и что делать. Даже если вина не доказана, а действия сомнительны. Водила, подари мне частичку твоего броневой лба, расскажи состав раствора, коим скрепляешь шаткие мысли и проржавевшие слова в монолит личной правды, против которой бессильны любые ветра перемен.

— Если бы не этот гондон, жили бы мы сейчас нормально, но он, как все урки, труслив и жаден...

Сентябрь. И в машине, в которую задувает морской ветер, принося горько-сладкий запах гнили и ржавчины, двое говорят о политике. Они будут говорить о ней ещё месяц, два, полгода, год, десять лет, сто, тысячу, вечность. Не разведишь — не пытайся, не лезь — убьёт: таково напряжение. И повсюду всё больше, как на трансформаторных будках, черепов. Только не рисованных — настоящих.

— А он сбежал, сука, сдал всех...

Помню, жена включила телевизор, и пытающийся сохранять нейтралитет диктор сказал: “Виктор Янукович покинул Украину...” А на следующий день мне вдруг стали звонить, спрашивать, выяснять. Я всё думал, отчего звонят, пока ни сообразил, что на самом деле тогда все теребили друг друга, пытаясь понять, как жить дальше.

Листы А4, чёрно-белые объявления, набранные с ошибками, прилепленные к стенам в дикой спешке, подсказывали ответ на этот вопрос — севастопольцев приглашали на митинг.

Я тоже был там. На галдящей площади Нахимова. Среди людей, обвешанных российской символикой, как промоутеры рекламой. Они вываливались из транспорта — так что я вспоминал студёный погреб, куда на зиму мы перегружали мешки с картошкой, а они дырявились, — рвались с криками “Путин! Путин!” Трёхцветной стеной они пёрли на площадь, наводняли её. А на сцене, сварганенной наспех, роились люди, вещающие о необходимости перемен, невозможности жить в Украине, люди, обещавшие изменить жизнь Севастополя к лучшему и только к лучшему.

И всклокоченный мужик, который идеально бы подошёл на роль Барбоса в детском театре, бубнил:

— Опять те же рожи! Сколько же крови вы нашей выпили! У-у-у!

Он издавал это протяжное, агрессивное “у” на манер поезда, врывающегося в туннель. А другой мужик в синем ватнике, вроде тех, что носят дворники или сторожа, люди медитативных профессий, надсаживаясь, взывал:

— Путин! Путина нам давай! Путин!

— Ты бы так Иисуса Христа ждал! — брезгливо кинула старушонка с таким острым носом, словно напрашивалась на топор философствующего студента.

— Пу-тин! Пу-тин! — не обращая внимания, скандируя, запрыгал мужик.

— Я шёл туда, более всего страшась того, что нас поведут те, кто вылизывал Киеву, — скажет мне позже чернявый актёр местного театра. — Так и было. Но потом вышел он — седобородый человек в свитере, с лисьими рассудительными глазами...

С его появлением, я и сам помню, многое, действительно, изменилось. И мы — о, это подленькое местоимение, без которого не совершается ни одна мерзость в мире! — распаковали полученный из России груз — военные ящики, забитые концентратом под маркировкой “Патриотизм”.

Чтобы позже заливать его в глотки себе и другим, ждать, когда, точно после приёма чудодейственного эликсира, произойдут изменения, и все станут могучими, отважными воинами, с криком “ура!” идущими в атаку. Раздавить, смести, победить! Крики, действительно, были, много криков, но вот атакующие движения больше напоминали судорожные рывки и бессмысленные шатания.

И когда, поднятый ранним звонком, я мчался на оборону здания ГУВД, куда должен был въехать назначенный Киевом новый глава, и надо было блокировать, не дать ему это сделать, то принялся обзванивать — прямо из маршрутки, чтобы слышали другие пассажиры, — знакомых, ожидая, что те, кто так страстно заявлял любовь к Севастополю и России, хоть завтра готовые выйти на баррикады, ринутся в бой сразу, немедля, но из двух десятков, наверное, человек откликнулось лишь двое. Впрочем, и они опаздывали.

У здания милиции толпились бородатые казаки в засаленной форме и решительные, всегда готовые к последнему бою пенсионеры с немислимым количеством георгиевских ленточек. Были ещё не по ситуации радостные женщины с внятными, крупными лицами: они притащили надорванный лист ватмана, на котором синим маркером было выведено патриотическое, как мне объяснили, стихотворение.

— Его даже вчера, на пикете, “Первый канал” снял, — не без пионерской гордости заявила та женщина, что держала лист справа.

— Вот как, — отчего-то смутился я, а казак с усами под Лемми Килмистера затынул “Боже, царя храни”...

Подъехала серая “Тойота-камри”, из неё вышло трое. Один, с лицом стареющего Аль Пачино, запахнулся в тёмное пальто, поправил блестящий галстук, направился к зданию ГУВД.

— Это он! Не пускать! — крикнул кто-то, и толпа сомкнулась. Тумбообразная женщина с миловидным не по годам лицом, точно краской, брызнула на него отвращением и страхом, закричала:

— Бандеровцы не пройдут!

Она замолчала. Лицо её вновь стало миловидным, но свежий крик повторно исказил его.

— Позор! Бандеровцы не пройдут! Вон из нашего города! — перебирала женщина фразы, словно нащупывая ту, в которой её поддержит сомкнувшаяся толпа, но живое ограждение молчало, торжественное в своей концентрированно-суровой важности.

— Дайте пройти! Да что это такое, в конце концов, а? Сергей, чёрт возьми!

Человек с лицом Аль Пачино продирался вроде бы как решительно, но тычком, фразам не хватало того, что принято называть финальным аккордом, и это придавало его действиям, да и всему облику, некую обречённость, от которой державшие оборону подзаряжались, чувствовали себя увереннее. И Сергей лишь качал головой, а потом отвёл взывавшего в сторону, протянув ему сигарету из тёмно-красной пачки.

Они встали на фоне недавно построенной часовни Александра Невского с жёлтым блестящим куполом и непропорциональным крестом на нём, заспорили. Сергей улыбался, но курил одну за другой. Аль Пачино дёргался, пожимал плечами и вид имел крайне растерянный.

А люди у входа ждали. Женщина с миловидным лицом успокоилась и принялась рассказывать что-то приметному мужчине с крашеными хной волосами. Я видел такой насыщенный цвет лишь раз — у военрука школы, куда мы ездили участвовать в олимпиаде по ДШЮ. Возможно, этот мужчина был тем самым военруком на пенсии, отстаивавшим русский Севастополь. Он так заинтересовал меня, что я даже подумывал спросить его об этом, но отвлёк шум со стороны кинотеатра “Украина”.

— Ты чего, сволочь, припёрся?

— Предатель!

— А ну прочь отсюда!

Их было так много, кричавших, жестикулировавших, что затерялся сам объект ненависти. Но вскоре он проявил себя, оттолкнув пожилую даму в нежно-жёлтом шиньоне голубой натовской сумкой.

— Вы чего на человека накиннулись? — не выдержав, спросил я у женщины с миловидным лицом.

— А! Этот! — булькнула она, затрясла руками, и на что-то ещё, более аудиально внятное её уже не хватило.

— Это же диссидент, паршивец! — вмешался казак “Лемми”, и ругательства он произносил так же, как пел “Боже, царя храни”: раскатисто, торжественно, громко.

— А! Этот! — вновь булькнула женщина.

— Пишет статейки паршивые! Паршивец! Рисует нас чёрти как!

Мужика с натовской сумкой — можно ли было взять сюда что-то ещё более неуместное? — отгеснили к ионическим колоннам кинотеатра “Украина”.

— Провокатор! — кто-то озвучил мои догадки.

Модное словечко, актуальное. На него всегда можно было списать сомнительные, непонятные вещи. Им можно было отгеснить мужика с натовской сумкой или заклеить так и не вошедшего в здание ГУВД киевского засланца. Но где кончалась крымская провокация? И случилось бы всё так, как оно случилось, если бы мужчина, похожий на стареющего Аль Пачино, приехал бы не один, а с вооружёнными людьми? Если бы Киев отдал приказ флоту и армии?

Я думал об этом, когда ездил в тренировочные лагеря в Белогорье, где скупые на слова, щедрые на приёмы инструкторы доносили правила рукопашного боя. Или когда стоял на блокпостах, вливая в себя литры предельно сладкого чая, а рядом, лая, никак не могла уняться овчарка с дурацким именем Ганс, хотя никто не называл её так, а кликали просто — пёс.

Нам обещали лютого врага. А он так и не появился. Вместо него пришли другие.

Я отдыхал от будней третьей севастопольской обороны — так её окрестили в Москве. Вышел к морю, лужгал семечки. Вокруг раскинулись сакральные руины древнего Херсонеса, над ними стыл помнящий святость камень восстановленного Владимирского собора. Бледно-синие выстиранные волны бились о дырчатые, покрытые склизкой зеленью валуны и белёсой пеной падали на отшлифованную вечностью гальку. Я совершал чудной обряд экзорцизма, изгоняя из себя бесов войны, поселившихся в украинской хате, чтобы со временем превратить её в пепелище, добравшись до каждого, кто оказался причастен. Родные были предупреждены: не звонить мне, не беспокоить. Я был в себе, я был недоступен.

Но и навалившийся шум волн не помешал настойчивой вибрации потребить мою ногу. Я ответил автоматически. Вслушивался, толком не разбирая слов.

— Люди... ботинки... автоматы... новые... украинцы... наши... непонятно...

Догадался взглянуть, кто звонит. Оказалось, что знакомая, из городской налоговой — хорошая девушка Лида, что на улице Готской живёт, не сим-

патичная из-за грубых, крупных, словно наспех высеченных пьяным скульптором черт лица, но общительная, приветливая всегда и тем располагающая к себе. Мы познакомилась с ней на курсах английского языка. Она, как и я, коллекционировала видеокассеты с записями боевиков из девяностых.

Мне приходилось хранить их в гараже, и без того захламлённом пыльными шкафами, тазами, канистрам, ветошью, другой бесполезной дрянью, которую выкинуть жалко и всё собираешься перебрать. Кассетами был забит ржавеющий холодильник “Норд”. Лида же заботливо держала их дома — я бы, конечно, поступал так же, если бы не жена с её комментариями о комфортной обстановке для дочери, — и к ней можно было зайти в гости, выпить чашку имбирного чая, восхититься коллекцией, выбрать кассету (например, “Смертельное оружие—3” или “Коготь тигра”), устроиться на велюровом диванчике и посмотреть кино.

Можно, но я поступил так всего два раза. После жена безжалостными щипцами ревности разодрала мою нервную систему на лоскуты. И я, памятуя ту истеричную сцену, предпочитал общаться с Лидой по телефону или во время редких, промежуточно-скоротечных встреч.

А тут она звонила и причитала, что в здании налоговой — вооружённые люди. И ей, должно быть, — это я, лишённый нормального слуха, домыслил сам — страшно.

— Кто, кто там? — перекрикивая волны, уточнял я.

— Не знаю, не могу понять!..

Мы все тогда мало что понимали. Жили так, словно висели на дыбе: Киев тянул в одну сторону, Москва — в другую. А изнутри бодало воспоминание: “Так было уже — в 2004 году”. И швы плохо скреплённой украинской действительности с треском расходились, семьи рушились из-за лобового столкновения глупости с глупостью.

“Защити родину от врага!” — клокотало повсюду. И каждому представлялись своя родина и свой враг.

Хотя тогда, среди руин Херсонеса, всё больше превращавшихся из священных камней в просто камни, на которых, видимо, никогда ничего уже не будет создано, Русь, крестившаяся из одного источника, представлялась единой. Но связь рушилась, исчезала. На Евромайдане кропили святой водой тех, кто рвался в крестовый поход против русских, а на площади Нахимова проклинали украинских отступников, предавших истинную веру. И каждый был прав, и каждый был честен. А черноморские волны рассыпались на берегу каплями, сохнувшими, умиравшими поодиночке.

Связь с Лидой прервалась. Чёрточки, обозначающие сигнал, пропали.

По кипарисовой аллее, мимо музея византийского искусства, где девять лет не могли отремонтировать крышу, я поспешил к выходу. Стал напротив античного театра, позвонил. Связь появилась, но Лида не брала трубку. Волнуясь, я прыгнул в скрипяще-визжащий “Богдан” и поехал в городскую налоговую. Давал звонок, один, второй, третий, но — в безответность.

Уже подъезжая, я получил смс от Лиды: “Всё нормально говорить не могу”. Набил ответное: “Я у налоговой выйди”. “Не могу”.

У входа в здание налоговой стояли вооружённые люди в камуфляже. На вопросы не реагировали, внутрь не пускали. Лица были закрыты масками, виднелись только глаза. Я покрутился рядом и поехал домой.

Позже Лида рассказывала, что, устав от неопределённости, волнения, страха, подошла к одному из вооружённых бойцов — позже их назовут “зелёными человечками” и “вежливыми людьми” — с вопросом:

— Вы кто?

И он, нарушив приказ, ответил:

— Свои...

Нижняя часть лица его была скрыта, но он улыбался глазами, так говорила Лида, а я верил ей, потому что человек, смотревший фильмы “Джексон мотор” и “3:15”, а главное, хранивший их на видеокассетах, не мог лгать.

Трёп водилы в такси, ещё наэлектризованном присутствием человека-сфинкса, пробуждает воспоминания. И хочется позвонить Лиде. Пусть и по-

здно уже, пусть у неё завтра трудный, — а бывают ли другие в налоговой, зависшей в переходном периоде? — рабочий день. Но телефон стонет, батарея садится — не позвонишь.

Надо бы успеть предупредить жену, что могу остаться без связи. Набираю — сбрасывает. И тут же телефон пикает смс: “Спим у тебя всё хорошо?” Печатаю “да”, нажимаю “отправить”, и экран гаснет. Ушло ли моё сообщение? Если нет, то жена будет нервничать, переживать.

Быстрее бы добраться домой, завалиться спать. Лучше всего в отдельной комнате, потому что дочка обязательно проснётся ночью, и я вместе с ней, а если плачем разбудит не она, то жена своим недовольным бурчанием.

— Простите, у вас есть тонкая зарядка от “Nokia”?

Водила хмыкает:

— Ясен хрен, нет. Прошлый век, слышь? На вокзале спроси.

— Не поздно?

— Там круглосуточный шалман есть.

— Хорошо бы, — говорю я, жалея, что в кошельке — воздушные ямы. Так бы водила довёз меня прямо домой.

Ладно, доберусь до автовокзала и пешком по Красному спуску до площади Ушакова, а там и до Гоголя не далеко. Тем более, идти не впервой, да и на улице — вот-вот уходящее в рейс “бабье лето”.

— Подкинул бы денжат, доставил бы точно к дому, — говорит таксист, этот поднаторевший чтец мыслей.

— Нет, а может, — меня посещает идея, от величия и очевидности которой я подаюсь вперёд, — вы меня довезёте, а я денежку на месте отдам? Оставлю вам что-то в залог, быстро поднимусь и спущусь, а?

— Неа, — водитель приоткрывает окно, — “вечером — деньги, утром — стулья...” Евросоюз вон тоже обещал Украину принять...

И он заходится в кашляющем смехе. Оставшиеся километры мы едем под его шуточки о Кличко, Яценюке и Виктории Нуланд. Когда машина тормозит у шлагбаума, закрывающего въезд на площадку перед зданием автовокзала, — на ней в дальнем углу, под разросшимися платанами, где светит редкий фонарь, ещё стоят автобусы — водила финалит:

— Так что не ешь американские пирожки — бандеровцем станешь!

Неопределённо докаю в ответ и выхожу из авто в севастопольскую ночь, прохладную, ароматную, как охлаждённое шампанское в приморских кафе.

II

Автовокзал, тёмный, безлюдный, такой привычный в дневное время, сейчас кажется незнакомым, чужим, таящим в себе опасности и секреты, хотя последние десять-двадцать лет здесь ничего не меняется. Те же приземистые, обросшие пристройками здания и вытянутые тополя с почти прозрачными в своей тонкой белизне ветками окружают его по периметру, а чуть дальше, скрытый во тьме, покоится чёрный, с красной звездой на кованом брюхе паровоз “Железняков”, герой войны. И женщина, берущая плату за пользование туалетом, на приветствие всегда реагирует одинаково: “Ты у меня поумничай ещё!” Но это днём, а сейчас — лишь пустая асфальтированная площадка под исколотым яркими звёздами небом.

Шалман, о котором столь перспективно отзывался водитель, не работает, только кофейный автомат у входа, заключенный в решётчатый панцирь, источает тусклый, чахоточный свет. Дверь, — без табличек, вывесок или каких-либо других опознавательных-информирующих знаков — кажется, срослась с кирпичной стеной, и если бы не красно-белая вывеска “Турист”, одним своим видом настойчиво рекомендующая пересмотреть или посмотреть фильм “Спортлото-82”, строение можно было бы принять за барак на случай войны. Пробую попасть в главное здание автовокзала, но оно тоже закрыто, и автобусы под платанами смотрятся уже не столь естественно, как раньше, а скорее — чудно, неуместно.

У одного из них, весёлой сиреневой расцветки, трётся человек в лазурно-голубой куртке футбольного клуба “Севастополь”.

— Извините, простите, — кричу я ему, идя через тёмную вокзальную площадь, из одного, под зданием касс, к другому, над автобусами, пятачку света, — можно вас на секундочку? — Человек не реагирует. — Простите, где здесь можно зарядить телефон?

Тот, наконец, слышит, поворачивается. Даже на расстоянии в нос кидаётся агрессивная вонь перегара. Человек пьян. Он расшатанно пялится на меня, и приходится повторить вопрос.

— А, это, — всё же сообразив, он несколько раз плюшево машет рукой, — туда...

— Туда? — повторяю за ним бессмысленный жест.

— Да, — так же неопределённо кивает он.

— Хорошо, спасибо, — от такого всё равно ничего не добьёшься.

Но на остановке я понимаю, что он имел в виду. Здесь есть работающий ларёк, этот реликтовый экспонат из девяностых. В зарешённом окошке горит свет, и я стучусь в него.

— Здравствуйте!

— Да, что?

Одутловатое раскрасневшееся лицо. Полная женщина, которая будто носит его, поправляет растрепавшуюся причёску. В дальнем углу на перевернутом деревянном ящике сидит ухмыляющийся мужик в кепке "Chicago Bulls".

— Извините, у вас есть тонкая зарядка "Nokia"? Я только приехал, сел телефон...

— Да, да, — отвечая, женщина морщится, — пятьдесят рублей...

— Я не покупать, мне просто...

— Я и не предлагаю покупать. Пятьдесят рублей — полчаса зарядки, — она, наконец, разбирается со своими взбалмошными волосами.

— Мне не надо полчаса, всего пять минут, — чувствую, как выворачивающе подступает тошнота — то ли от волнения, то ли от пива и кошачьего корма, — один звонок....

— Пятьдесят рублей!

— Простите, но я сейчас без денег...

— Так чего лезешь? — ещё больше морщится продавщица и захлопывает окошко.

Безапелляционность её обездвигивает, немит, и я стою в растерянности, зная, что все мои просьбы разобьются о красную стену одутловатого лица и принесут его носительнице суррогат удовольствия, расфасованный по бутылкам, где на этикетках — моя жалкая, растерянная физиономия. Но надо пытаться, и я, постучавшись, дождавшись реакции, бросаюсь в блицкриг:

— Можете взять что-то, — запинаясь, — ценное, но всего пять минут позвонить...

— Слушай, отвали, а?

Продавщица повторно захлопывает окошко. Дикость!

Ночь, автовокзал, ларёк. Молодой мужчина, загуляв, просадил деньги, посадил телефон и теперь переживает... о чём? Тут мысль моя сбивается, тонет в пахнущих мазутом водах Южной бухты, и плавающие на маслянистой поверхности пакеты, эти мёртвые полиэтиленовые медузы, служат чем-то вроде надгробий.

Ну, без денег, ну, без связи, но ведь не мальчик уже — штанишки коротки, рубашечка помята, — да и вокруг не глухая, закупоренная безвыходностью ночь. Идти до дома минут пятьдесят, час, не больше. Так откуда это дурное волнение, откуда эта бестолковая суета?

Есть нечто паническое внутри — щемящее, бодающее, нарушающее целостность всей системы. От того бередит вьедливая, прижавшая необходимость позвонить, сообщить, что всё хорошо; всё хорошо, слышите? А хамоватая тётка с поношенным лицом утверждает за мой счёт и не помогает в том, в чём любой человек, в общем-то, помогать обязан.

Разъярённый, я несколько раз бью по ларьку, привыкшему, наверное, к подобным истерикам.

— Эй ты, эй, открой! — кричу я, уверенный в праведности своего гнева.

Но распахивается не окошко, а дверь. Из неё вываливается мужик в кепке “Chicago Bulls”. Лицо у него какого-то странного лилового цвета. Настроен мужик беспощадно.

— Тебе, сука, неясно сказано? А ну, проваливай, нах..!

— Слушайте, мне просто надо зарядить телефон!

— По-хорошему, не понимаешь, да? — мужик выходит из ларька, в левой руке у него монтировка, обмотанная тёмным скотчем. — А ну, нах..!

Он замахивается ею, скорее, для вида, — во всяком случае, так хочется думать, — но и этого достаточно: я делаю пару шагов назад, а потом уже быстрее — прочь от ларька.

— Суки! — мой нелепый, почти детский выкрик. Мужик реагирует довольной ухмылкой. Тоже мне, герой.

“Ничего, хрен с ним! Прорвёмся!” — раззадориваю я себя, ускоряясь на Днепровском мосту. И пронсящие мимо машины одна за другой по частичке захватывают мой негатив с собой.

Днепровский мост, помню, открывал Виктор Янукович, одетый в светлый летний костюм, ужасно контрастировавший с его лицом цвета разбавленного молоком чифира. Я присутствовал как журналист, разглядывал украинского президента и удивлялся, пару раз вслух, почему такие люди, как Профессор, управляют сотнями миллионов государством. Но, возвращаясь домой, между изрисованных стен, пищащих груд мусора и червивого гнилозубья пней я понял, что в этом есть закономерность.

Ниже моста по случаю стройки облагородили заброшенный привокальный сквер: положили плитку, поставили пару скамеек, воткнули по центру ель. “А, судя по смете, — ёрничал мой лысоватый знакомый Ватутин из администрации, — там целый Ботанический сад разбили...”

— А! На! Да! — вдруг доносится крик.

На остановке железнодорожного вокзала пять или шесть пацанов в кожаных куртках — им бы ещё рогатые шлемы, и полный привет Энтони Бёрджессу! — бьют пивные бутылки о носки массивных ботинок-гадов. За осколочным досугом, потягивая тонкую сигарету, наблюдает ядовитая блондинка, похожая на рыбину, забытую в морозильной камере. На ней — форменный синий фартук в мелкий белый горох. Судя по нему, блондинка работает в круглосуточном буфете, с фасада которого улыбается губастая, с чёртиками в глазах девица. На плакате — она, а в реальности — блондинка-рыбина. Неудивительно, что в буфете пусто. И, глядя на гормонально-алкогольное воодушевление подростков, так контрастирующее с мёрзлым равнодушием продавщицы, мысль о просьбе тонкой зарядки для “Nokia” отбрасывается как угрожающая жизни.

Спешу перейти на другую сторону дороги, бреду вдоль зданий бывшего севавтопольского хладокомбината. На стене одного из них ещё сохранился, — правда, уже порядком выбеленный дождём и солнцем, — рекламный щит, изображающий мороженое в вафельном стаканчике. “Сливочное”, так оно называлось, а было ещё “Шоколадное” — всего два вида, но стоили они сотни тех, что продают сейчас. Севастопольское мороженое, как и пиво, хвалили едва ли не все, кто приезжал к нам, в черноморский город-герой.

Школьником я обедался “Сливочным”, а в институте предпочитал разливное пиво местного производства. Лучше всего было брать его в будке на площадке между Матросским клубом, пересечённым террасой с колоннадой, и кинотеатром “Дружба”, под который коммунисты переделали бывший католический костёл начала двадцатого века. Здесь, под тенью разросшихся акаций, на низких скамейках, едва держа пузатые кружки, сбивались в группки — точь-в-точь Бывалый, Балбес и Трусы! — матёрые любители пива, в основном старики и ретроперсонажи в беретах, тельняшках, вельветовых штанах и болоньевых плащах, но встречались и такие, как я — молодые, не признававшие ту разбодяженную гадость, что льют в модных кафешках и пабах.

Но всё это было раньше, в душистых остатках советского прошлого, где Севастополь, пожалуй, всегда чувствовал себя неплохо. Сейчас же нет ни разливного пива, ни мороженого в вафельных стаканчиках; я не школьник

и не студент. Пивзавод купила корпорация “Оболонь”, хладокомбинат умер сам, а в будке под шелковицами — скудный ассортимент гастроэнтерологических кошмариков: шоколадные батончики, чипсы, сухарики.

От воспоминаний о севастопольском мороженом и пиве утро довольно урчит, и делается покойно, благостно даже, словно после долгих скитаний по гостиницам и аэропортам я добрался-таки домой, включил фильм из тех, что пересмотреть хочется, и завалился на диван, проводя вечер без суеты и беспокойства, но зная, что всё равно нужен, всё равно не забудь.

И жёлтый купол небольшой привокзальной часовенки, выглядывающий из-за покатых шиферных крыш, оштетинившихся кирпичными, покрытыми копотью трубами, добавляет приятия мира. Он организуется так, как угодно, и тревога, бодавшая у ларька, выветривается, растворяясь в недвижимой толще бухты, за которой виднеется рафинадное здание филиала МГУ, тёмные домишки, каменными грибами покрывшие склон, и извилистая дорога, освещённая фонарями-ягодами. В ночном воздухе уже чувствуется приближение настоящей, сырой, ветреной осени, и густая, волглая зябкость наполняет с моря.

Пешеходная дорожка поднимается вдоль автомобильного спуска, заключённого меж двумя склонами. Нижний, отделённый парапетом, сложенным из серо-розовых гранитных камней, залитых бетонным раствором, мёртвой проплешиной сваливается к морю, но выше, по мере подъёма, начинаются заросли узловатых деревьев с паутиной источённых веток. Напоровшимся на мель ковчегом застыл припортовый четырёхэтажный дом, в безжизненных окнах которого, кажется, никогда не горит свет. Верхний спуск каменист, похож на разломанный кусок крошащегося хозяйственного мыла, и на нём мохнатыми пятнами пробивается сухой белёсый кустарник.

Шаг мой бодр, мысли свежи, я напеваю: “Walked the streets of love and they’re full of tears...” И мечтается, чтобы на праздничном концерте в честь присоединения Крыма к России звучала бы именно эта песня, и Мик, Кит, Ронни, Чарли творили бы на сцене великую мистерию рок-н-ролла.

Но были не они, а Вика Цыганова и Николай Расторгуев. Я стоял на площади Нахимова, один из тысяч людей, закутанных в российские триколоры и знамёна с Андреевскими крестами. Какой-то пьяный, растрёпанный, совершенно потерянного вида мужик выплясывал извращённое пого, освоенное нами, школьниками, в рок-клубах, пахнущих табаком и блевотиной, и девицы там были страшненькие, золотушные, с мелкими, дробными личиками. Наверное, в любое другое время, в любом другом месте этот пого-мужик смотрелся бы вульгарно, дико, но только не сейчас, когда общая радость и воодушевление окружали его. Одноногий старик со свисающей, точно взбитый белок, сплюной, водружённый на инвалидную коляску, пробовал хлопать в ладоши. Симпатичные близняшки в одинаковых красных куртках и розовых утягах на манер футбольных фанатов растянули шарфы “Севастополь—Россия”.

Мы были со знакомым, молодящимся, шальным Вадиком Межуевым, ездившим на Евромайдан, и я спросил его:

— В Киеве, небось, веселее было?

— Так же. — Он подумал и, улыбнувшись, добавил: — Если бы не чехи...

А Расторгуев тем временем пел: “Ждёт Севастополь, ждёт Камчатка, ждёт Кронштадт...” И Вадик вдруг растроганно произнёс:

— А ведь и правда — ждали... Но что дальше-то, а?

В музыке, гомоне, крике толпы слова его прозвучали неожиданно чётко. И я подумал, что здесь, сейчас рождается новый российский Крым.

И ты спрашиваешь, что дальше, Вадик? Классическая, всасывающая пространство чёрной дырой неизвестность. Как иначе? Но знаешь, все эти люди вышли на площадь Нахимова, как и в Киеве на Евромайдан зимой, не за пенсии и колбасу (или не только за это)! Нет, великая надежда, Русская мечта ворвались в сердца, мысли и пламенеющей зарёй на несколько дней, недель, месяцев — у кого как, — осветили самые затхлые, самые тёмные, самые удалённые закоулки души, как нечисть, изгоняя оттуда дурные

помыслы, обречённость, страх, принося нечто новое, колоссальное, неизъяснимое.

— Во мне ожило святое чувство — чувство Родины, этот Внутренний Крым, — сказал мне один знакомый писатель, когда мы прогуливались по Историческому бульвару, спускаясь от Панорамы к полуразвалившейся стене Цоя, где ещё собирался десяток недобитых фанатов “Кино”, — и его нельзя потерять сейчас, понимаешь?

Я кивнул:

— Главное — чтобы новая старая власть услышала, почувствовала это...

Знакомый писатель, из-за чёрных кустистых бровей и сытого, полного лица похожий на молодого Брежнева, горячо согласился. А сильный, картавый голос под аккомпанемент расстроенной гитары затянул: “Следи за собой, будь осторожен...”

После того праздничного концерта прошло ровно полгода. Кто-то уехал из Севастополя сразу, до или после референдума, кто-то разочаровался и покинул город спустя несколько месяцев. “У меня отняли родину, аннексировали её”, — заходилась после пары алкогольных мохито знакомая с улыбкой под Сашу Грей. Мы сидели в приморской кафешке на Парке Победы, смуглый парень у входа румянил шашлык. Через неделю знакомая уехала, но почему-то не на Украину, а в Москву.

Так растерялся ли, растрепался ли наш Внутренний Крым? Сожрала ли его, затюкала ли адова кухня роста цен, ужесточения законов и транспортно-логистических бед? Проглотил ли его лукавый Левиафан ванильных, приторных обещаний? Затёрла ли его та же, что и при Украине, — да что там, не меняющаяся со времён Грибоедова! — банда казённых морд? Не знаю. Поезда обещаний идут, тормозят, разваливаются, превращаясь в ржавый остов. Пройдёт время, и его подлатают, подкрасят, пустят по дьявольским рельсам вновь.

Но тогда, в марте, в крымских сердцах звучала песнь победителя. Я знаю точно. И не нужно продираться сквозь горы мусора, дабы понять это. Хотя он повсюду — развалился, точно бухой курортник на пляже.

Вот и сейчас передо мной — половина спуска пройдена, виднеются подсвеченная бледно-зелёная адмиралтейская башня с российским флагом и краснеющая аллержическими светодиодными точками вывеска стрип-бара “Сердцеёдки”, — брошенный на асфальт, чернеет огромный пакет, в таких гангстеры из кино перевозят трупы.

— Эти люди никогда не будут жить хорошо, — говорил мой дед, — ибо свиньи!

Тогда, в детстве, казалось, что он возводит напраслину, но со временем окружающие старательно убеждали меня в его правоте.

Но приближаясь, чёрная масса уже не кажется пакетом — слишком неровны её очертания. Вматриваясь, я всё больше думаю, паникуя, что передо мной человек.

Шаг замедляется, на смену воодушевлению приходит страх. Он формируется где-то в районе солнечного сплетения и постепенно заполняет всю грудную клетку, сбивает дыхание, и что-то тяжёлое, невидимое усаживается на плечи.

Да, передо мной человек. Спящий, живой, мёртвый или пьяный?

Первой мыслью было трусливое желание перейти на другую сторону дороги, но там — лишь скала, поросшая колючим кустарником, переходящая в забор, сложенный из белых инкерманских камней. Лестница, поднимающаяся к библиотеке Толстого, — чуть дальше. Дойти до неё можно лишь по той стороне, где лежит бездвижный человек. Поворачиваю назад, думая вернуться, но эта идея видится уж совсем малахольно-позорной.

Вновь смотрю на лежащего человека, мысли потихоньку утрясаются, остывают. И вот я уже корю себя за трусость, вызванную то ли резкой переменной чувств, то ли ночной атмосферой, то ли — этот вариант наименее приятен — внутренней конституцией. “Впереди — человек! Ему плохо! А я хочу сбежать?! Чмо, трус!” — подгоняю себя оскорблениями, но шаги мои всё равно, как у дебютирующего эквилибриста.

— Эй, вы! Эй! — кричу я лежащему, но он, конечно, не отвечает. А в голове у меня мешанина из ужастиков: кишки, демоны, кровь.

Через силу, но приближаюсь. Человек, скелетопоподобный мужик, лежит ногами к дороге, упершись головой в бетонный парапет, под ним растеклась лужа крови. Вздрагиваю. Рука автоматически тянется к телефону — вызвать “скорую” или полицию; не сразу вспоминаю, что батарея разряжена, не дозвониться. В этот миг на спуске вспыхивают фары.

Кидаюсь к дороге, что-то кричу. Горящие фары приближаются. Машина, чёрный “БМВ”, притормаживает. В полуоткрытом окне я вижу осклабившуюся физиономию человека-сфинкса из Ялты. Замираю. Взгляд его — пустой, безжизненный, немигающий — вперен в меня. Не разобрать ни выражения, ни цвета глаз; они — два колодца в туманной мгле, без дна, без края, так чертовски контрастирующие с плотоядным оскалом. Я, парализованный, соображаю: разве такое возможно? Но “БМВ” уже несётся вниз, салютя алыми маячками задних фар. Хотя, собственно, почему бы и нет? Ведь человек-сфинкс мог, выйдя в Инкермане, пересесть на авто и приехать сюда. Но для чего? И это демоническое выражение лица, какого не бывает у человека, — бррр! Почему он не откликнулся, не вышел? Или всё это мне лишь привиделось?

Лучше думать так, а пока осмотреть лежащего мужика. Ему ведь наверняка нужна помощь.

Осматриваю со смесью брезгливости и опаски. Мужик до унесения ветром худ; скуластый, носатый, с выдающимися надбровными дугами — весь костлявый и острый. Голова словно приколотая к тонкой птичьей шее, волосёнки на морщинистой пергаментной коже — через один. Расстёгнутые пиджак и рубашка — донельзя старомодные, какие обычно хранят в деревнях сначала на праздник, затем на похороны, а в итоге они так и остаются висеть в скрипучих шкафах — обнажают грудь с деревянным крестиком на тёмной верёвочке. Его можно бы принять за высохшую мумию, этого мужика, если бы не лужа крови под головой.

— Твою мать! — выдыхаю я, с олигофреническим опозданием догадываясь, что мужик-мумия может быть мёртв. — Твою мать! Твою мать! — повторяю я не знаю уж сколько раз. И в этом, наверное, есть что-то киношное.

— Эй, эй! — зову я мужика, но касаться, пусть и носком ботинка, то ли брезгую, то ли боюсь. Не трогать смерть, чтобы не заразиться ею.

Так всё же покойник? Или просто бухой в отключке? Но когда я встречал бухих, спящих на траве или скамейке, они храпели, шевелились, подавали, как говорят в криминальных хрониках, признаки жизни, а тут — абсолютная стылость.

Проедь машина, пройди человек — ну, пожалуйста! Чтобы не было так страшно, чтобы не быть одному. Но я — тет-а-тет с мумией, и фоном тому — ночной Севастополь. Поднимись чуть выше, на площадь Суворова, или спустись ниже, к вокзалу — там будет жизнь, но здесь всё покойно, заброшенно, одиноко. Не знаю, который час, — наверное, за полночь; зачался новый день, — но даже в это позднее время здесь должны проезжать машины. Почему их нет, почему?

И что делать в подобных случаях? Вызвать полицию, “скорую”? Сбежать? Оба варианта — отбросить. В первом случае не даст севший телефон, во втором — голосящая совесть. Значит, надо проверить, жив ли иссушенный человек. Как там правильно — приложить руку к шейной артерии? Ага, знать бы — куда! Пощупать пульс на руке? Это уже правдоподобнее. А если труп, и на нём мои отпечатки пальцев? Что потом докажешь российским ментам? Лучше ли они украинских? Вряд ли.

Дыхание! Живой человек дышит! Вот это уже лучше! Вот это уже толково! Почему не сообразил сразу? Твою мать! Твою мать!

Склоняюсь над мужиком. Дыхания, которое так хотелось услышать, вроде бы нет. Мёртв? За спиной проносится машина. Надо вызывать полицию.

Когда я учился в младших классах, то много читал “детские детективы” — была такая чудная серия, где выходили книги Энид Блайтон, “Альфред Хичкок и три сыщика”, истории о Нэнси Дрю и Братьях Харди. Я и сам

отыскивал (воображал) преступления, дабы распутывать их. Одна история сохранилась в моей памяти особенно ясно.

Я возвращался из школы, класс третий, наверное, на ходу листая “Тайну шепчущей мумии”, её собирались разгадать толстяк Юпитер Джонс, здоровяк Питер Креншоу и некий Боб (уже не помню ни его фамилии, ни описания, но значился он как архивариус). В арке у подъезда я наткнулся на кровавый след. Он вёл к лифту, обрывался у раздвижных дверей. Мне было девять, я, воспалённый чтением, представлял себя юным сыщиком и впервые видел нечто похожее на последствия реальной драки. Возможность настоящего дела, а не сомнительных фантазий во время шатаний по пустырям и свалкам засияла передо мной. Я пошёл на кровавому следу.

Он пеглял через соседние дворы, густо засаженные деревьями софоры, — в знойное июльское пекло здесь спасались под тенью мамыши с колясками, а засушливой осенью, переругиваясь и кряхтя, собирали цветки, дабы настаивать их на спирту, пенсионеры — кончался у гастронома “Ахтиар”. Чуть ниже, в подвальчике, открыли пивную, и мне, как матёрому сыщику, казалось, что кровавый след должен обрываться именно там — пьяная драка, разборка, нож; кто-то не сдержался, кто-то не рассчитал, — но нет: последние капли атели у боковой витрины. Я покрутился вокруг, надеясь что-нибудь выведать, уяснить, но в гастрономе мельтешили люди, а дома ждала бабушка, нервничавшая, когда я опаздывал из школы более чем на полчаса. Пришлось возвращаться.

Вечером я узнал, что нашего соседа, “непутёвого Витьку”, подрезали. Он попал в реанимацию. А уже следующим утром я рапортовал его жене о вчерашнем расследовании. Она, всегда ходившая в аккуратном платочке, слушала меня, ликовавшего, гордого, а вечером нас с мамой, возвращавшихся домой, на подходе перехватила испуганная бабушка: “Там милиционер пришёл, внука спрашивает! Говорит, знает он, кто Витьку зарезал...”

Мама отреагировала как всегда спокойно:

— Во-первых, Амалия Степановна, — бабушку, мать мужа, она называла только по имени-отчеству, — Виктор живой, его не зарезали, во-вторых, давайте я сама поговорю с милиционером, а вы побудете с внуком... Журнал ему, что ли, купите...

И мы с бабушкой побрели на остановку, к обдупившемуся ларьку “Союзпечати”, царство свинца, типографской краски и пахучей дряни вроде душистого мыла и одеколona “Тройной”.

Не знаю, что мама сказала милиционеру, — возможно, то, что я слишком мал, разыгралось воображение, — но больше ко мне из правоохранительных органов не приходили, и детские детективы родители не покупали.

С тех пор, так я думаю, во мне проросло тоскливое недоверие к милиции, колкая настроенность из серии “лучше не связываться”. Хотя в основе, наверное, гнездилися даже не случаи с подрезанным Витькой Гришиным (он, к слову, тогда умер), а образ из детства, когда взрослые, покачивая головой или цокая языком, стращали: “Будешь плохо себя вести — придёт дядя милиционер, заберёт тебя”. И человек в форме представлялся едва ли не Вихрем-похитителем.

Наткнувшись на окровавленного мужика, я вновь испытал страх милиции, разволновался, дёрнутый им. Сообщить о преступлении — значит, пойти свидетелем, а там, при существующей системе, и до подозреваемого недалеко. Но сбежать? Какая подлость! Нет, надо тормознуть машину, объяснить ситуацию, пусть вызовут полицию или “скорую”.

Перемахнув через бестолково подстриженный кустарник, жмусь к дороге. Взмахиваю рукой, словно такси ловлю. Три или четыре машины проносятся мимо. Отчаиваюсь, хожу, как припадочный, топча и без того неубедительную жухлую траву. Оборачиваюсь, надеюсь, что мужик встанет, но он бездвижен.

Наконец, тормозит чёрная “Волга”. На таких, с личными водителями, по Севастополю часто ездят офицеры из штаба флота. Окошко опускается, из него выглядывает курносая, почти мальчишеская физиономия.

— Да, чувачок?

— Там вон, — я взмахиваю отяжелевшей рукой, — труп, и надо...

— Что? — физиономия сжужсывается.

— Там труп, по ходу. У меня телефон сел. Надо в “скорую” позвонить. Или ментам, я не знаю... — скороговоркой выдаю я.

— Ты чо, мужик, какое, бля, два часа ночи, ты чо... — лепечет физиономия, и чёрная “Волга” повторяет маршрут предыдущих машин.

Два часа ночи! Как долго же я скитался! Жена наверняка проснулась. Увидела, что меня нет, разволновалась. Волнение её станет злостью, когда она вспомнит мои пьяные звонки с набережной Мисхора.

Семейные переживания заслоняют мысли об окровавленном мужике, но в то же время отрезвляют, заставляют мыслить логично, связно.

— Здравствуйте, извините, два часа ночи, у меня труп! Можете выйти, убедиться сами! Не хотите? Тогда дайте телефон, позвонить! Или позвоните сами, вызовите полицию!

Да уж, есть ли шансы на помощь после такого? Хотя последняя фраза ещё более или менее нормальна. Но кто остановится? Когда одна болезненная подозрительность кругом.

Необходимо позвонить. В “скорую” или полицию. Назвать место и уйти, не дожидаясь приезда сирен и мигалок.

А вдруг не приедут? Ну и что? Зато совесть чиста. Сделал, что должен — и будь, что будет. Тем более, если дома — грудная дочь. Главное — дозвониться.

Пробую оживить чёрный кирпичик “Nokia” — всё равно, что у булыжника взывать к подаянию. Надо идти на площадь Суворова, искать людей. По-другому — никак.

Обернувшись на мужика, убедившись в неизменности его положения, спешу наверх. Машины издевательски проносятся мимо, наваливаясь и отпуская шумом; стараюсь не обращать на них, бесполезных, внимания.

Ближе к площади Суворова на противоположной стороне дороги появляются двухэтажные здания. В редких окнах горит свет. Перебегаю через дорогу, суетливо иду вдоль зданий. У подъездов в большинство из них висят таблички — здесь административная вотчина. Удивляет одна, густо-бордового цвета с жёлтыми буквами, на мгновение рождающая приторный ретровосторг: детская морская флотилия имени адмирала Кузнецова. По правую сторону здания асфальтированная дорожка уходит в освещённый дворик, внутри которого, за увитой виноградными лозами решёткой замечаю выкрашенные в чёрно-белые цвета муляжи торпед и глубинных бомб.

Жилых домов — только два. На первом этаже дальнего от меня из-под белых створок жалюзи и зелёного нагромождения растений пробивается свет. Думаю постучать в окно, прикидываю реакцию. В подъезд всё равно не попасть — везде домофоны. Прогнозы мои неутешительны, но воспоминания о кровавом пятне, растёкшемся на асфальте, всё же заставляют приложиться к стеклу костяшками пальцев. Сначала пугливо, деликатно, потом злее, настойчивее. Внутри, кажется, лает собака. Обрываю стук. Свет горит, собака лает, но никто не показывается.

Глупая затея, тщетная! Кто распахнёт окно в такое время? А если и распахнёт, то захочет ли связываться? Нет, нужно бежать дальше.

Площадь Суворова, и без того крохотная, в ночной судороге кажется ещё меньше, замкнутая домами с маскерами в виде львиных морд и кленовыми великанами Комсомольского сквера, у входа в который на бетонных пьедесталах висят две амфоры, украшенные якорями, а дальше в лунном свете белеет ротонда, с которой открывается эпический вид на Южную бухту. Сколько коктебелевского коньяка выпито здесь, сколько местных и заезжих девиц перецеловано.

Справа от памятника Суворову на Центральный холм взбирается крутая — кошмар астматиков и сердечников — лестница, а вот левее, через трехэтажный дом, вроде бы есть круглосуточный магазинчик. Надо идти туда, просить о помощи.

Раньше, когда мы ещё шлялись по центру Севастополя без жён, заваливаясь в случайные кабаки, на улице Ленина был всего один продуктовый

магазин — “Лейла”. Так получалось, что всякий раз мы оказывались в нём, продолжая алкогольное веселье, с целью “догнаться”, и всякий раз не находили там выпивки.

— Где бухло? — бушевали мы.

Притихшие же на кассах татарочки объясняли:

— Извините, но алкоголя в продаже нет.

— Как? Да вы что? Мы заплатим! Двойная цена!

На этих словах возмущавшийся за всех чернявый Жижка — он родился на Балканах и, став актёром театра имени Луначарского, принялся утверждать, что состоит в родстве со Славоем Жижекком, — краснея ушами, а лицом, наоборот, блея, — такой образцовый фанат “Спартака”! — доставал толстенный бумажник и демонстрировал ластящиеся друг к другу купюры. Ритуал этот случался едва ли не каждую пятницу. Но татарочки оставались милы и невозмутимы:

— К сожалению, невозможно. Мы не торгуем алкоголем.

Нам понадобилось пару месяцев, чтобы сообразить: “Лейла” принадлежит крымским татарам. Наверное, правоверным. Ведь по мусульманским законам продажа алкоголя запрещена.

— Хорошо, я хоть продавищ клеить не стал, — улыбался Жижка. — Ничего, без бухла они скоро загнутся...

Позже “Лейла” и правда закрылась. Помещение осваивали разные конторы: от бутика элитных вин до лавки, торгующей рок-атрибутикой, но закончились искания предсказуемо — магазином со скучным названием “Продукты”.

Дверь туда в столь поздний час, время романтиков и маньяков, заперта, оставлено лишь окошко, которое сразу же меня напрягает: с такими уже были проблемы сегодня (или, вернее, вчера). Рядом с входом на стене дома чёрным маркером сделан рисунок: прямоугольник, а в нём — рыба и дверь. Жму кнопку вызова, вглядываясь внутрь магазина, заставленного брендированными холодильниками.

Апатичная, потухшая девушка с идеально гладким, точно заутюженным лицом, заставляющим вспомнить писателя из Мисхора, подходит к двери неожиданно оперативно.

— Да? — говорит она.

Вполне приветливо говорит, убеждаю себя я, измученный шандарханиями и отказами. И, наученный опытом, решаю не начинать разговор с истерических воплей о трупе, а для начала поболтать, расположить к себе.

— Строго у вас тут, — показываю на запертые двери, решётки, — это от кого такая защита?

Нет, не те слова; может решить, что я допытываю, вынохиваю. Хочу поправиться, добавить что-нибудь более нейтральное, но заутюженная продавища настроена разговорчиво, добродушно:

— А это после российских законов-маконов, когда алкоголь после одиннадцати — ни-ни, а всем же надо, всем же подай...

— Так это вам охранник необходим!

— Есть у нас охранник-мохранник, но тут он заболел, видите ли. Да бухал он, вот что! Это ж ежу понятно! — У неё что-то пикает в магазине, и тон крепчает: — Так вам чего?

— Слушайте, тут такое дело, — я пытаюсь смотреть ей в глаза. Они узкие, точно надрезанные, но в то же время навькате, словно веки при рождении оказались больше, чем задумывалось. — Я приехал из Ялты. Только что. На последние деньги...

— О-о-о, — тянет продавщица, и рука её ложится на пластиковую ручку окна.

Неужели ещё одна, такая же, как и носительница одутловатого лица в привокзальном ларьке? Или в их поведении есть суровая закономерность? Может, ночные продавищ отбирают в результате жёсткого кастинга, согласно строго оговорённым критериям, главные из которых — недоверие и подозрительность?

— Подождите! Поймите — там человек! Ему нужна помощь!

— Вы будете что-то брать? — в голосе продавщицы нет раздражения. Она просто выполняет свою работу. В магазине опять что-то плачет.

— Да нет же! Просто дайте позвонить! Или, — поправляюсь спешно, — позвоните сами!

— Слушай-послушай, — её переход на “ты” многозначительнее любых слов, — я тут за смену сто-о-о-о-о-о-олько историй наслушаюсь, твоя, ну, знаешь, вообще никакая...

Окошко захлопывается. Опять. И снова. Да сколько же можно, а?

Весь этот день, начавшийся с героического пробуждения и прожитый из-за желания успеть сделать многое, в ускоренной перемотке — разбитое зеркало. Всё в нём, если мыслить практически, как бы зря. И радиоэфир (кому нужна эта филологическая болтовня?), и поездка к писателю (рецензию, о которой он попросил в итоге, я бы всё равно написал, а ближе мы, несмотря на полкило кошачьего корма, так и не стали), и растрата денег (не будь её, я бы давно уже просматривал результаты футбольных матчей, доедая пирог с брюссельской капустой или переперчённый гуляш, или что там ещё могла приготовить жена)?

Бесконечная суета, круговерть, день за днём, и каждый из них — с намерением жить нормально. Или для начала понять, что это такое — “жить нормально”.

Профессиональное выгорание — так это, кажется, называется? Но существует же, наверняка, и выгорание личностное. А бывает и так, что выгорела судьба человека; осталась лишь точка наподобие той, что чернеет от затушенной сигареты.

И та мне не мила продавщица, и эта, а попутчик, благодаря которому я доехал, вообще кажется демоном. А всего-то нужен — нормальный, без седания подход к людям. Так бы сказал очередной Дейл Карнеги, их много сейчас развелось... Даже у нас, на улице Гоголя, в доме, где никак не разорится пустующий супермаркет “Большой сосед”, открыли “Психологический центр”, хотя, судя по вывеске и двум вялым кипарисикам у входа, — мол, озеленили, — там лишь один кабинетик, где психолог, месяц назад окончивший филиал хитровыдуманного института, насмотревшийся на Билли Кристалла в “Анализируй это”, планирует баламутить мозги тем, у кого дела обстоят ещё хуже, чем у него.

Если встретился этот мёртвый мужик, значит, он не только пытка, но и возможность. И важно не сдать, не отступить. Один шаг, второй, третий — и километр ответственности пройден.

Барабану в окошко, не озверев, умеренно громко, так, чтобы не повредить стекло.

— Откройте! Дайте позвонить! Позвоните сами!

Продавщица — она за стойкой “Love is...” — разговаривает по телефону, красным пятном накрывающим ей ухо. Никакой мимики, когда она произносит слова; ей бы не сникерсами торговать, а в голливудском кино сниматься — такая женская версия Майкла Майерса.

— Откройте! Пожалуйста!

— Чо, проблемы, братишка?

Оборачиваюсь. Передо мной двое: в одинаковых блестящих куртках, джинсах-“варёнках” и лакированных туфлях. Кавказцы. Их стало больше в Крыму после присоединения к России.

— Да вот, не открывает!

— А чо, надо? — намекая на алкоголь, делает характерный жест один из них.

— Нет... Там человеку плохо!

— Плохо?

— Да, может, того...

— Чо?

— Э, Аслан, ты не понял, чо? Мёртвый, да, братишка?

Киваю. Боковым зрением вижу, как продавщица, отложив телефон, следит за нами.

— Где?

— Да там, на спуске.

Кавказцы смотрят друг на друга испытывающе. И тот, что без кепки, Аслан, говорит:

— Этой бесполезно, слышь? — Видимо, он о продавщице. — Да ты не бойся, поможем...

От слов кавказца заиндевшая душа оттаивает. Люди, вот они — наконец-таки! — не перевелись, помочь согласились. Так я свылся за эти часы с равнодушием, неприятием, что отзывчивость, сострадание кажутся чем-то балующим. И я говорю радостный, благодарный:

— Спасибо, тут недалеко...

Мы отходим от магазинчика. Переходим через дорогу — светофор мигает жёлтым — к зданию “РНКБ” банка, из-под белых цветов которого выступают зелёные “ПриватБанка”, он располагался здесь до референдума.

— Тут недалеко, — я всё больше наполняюсь спокойствием и благодарностью.

— Да-да, — говорит Аслан и крестится на часовню Александра Невского, построенную недавно в Пушкинском сквере.

— Спокойно, братишка, — достаёт пачку “Кента” Аслан, — звонить, напрягать, после эти дела делать...

Они закуривают, густо пуская сворачивающийся змеиными кольцами дым. Так смачно, что на мгновение мне и самому хочется взять сигарету.

— Просто, кажется, он того...

— Воевал? — вдруг спрашивает меня Аслан.

— Кто, я? Нет, — машу головой, — “военка” в универе, сборы, такое, в общем.

— Да-а, — Аслан удивляется так, будто я не делал то, что делали все.

Быстро преодолеваем спуск. Со странным чувством — навязчивым, волнительным, сильным — застаю мужика-мумию там, где он и был, у паркета.

— О, слушай, — замечает его и Аслан, — тут звонить, Казбек, говорят надо, да?

— Э, слышь...

Казбек подходит к лежащему мужику. Стоит, присматривается. А потом начинает шарить по его карманам. Ловко, гладко, внимательно — профессионально.

— Вы чего? — ошалев, делаю шаг навстречу.

— Э, братишка, не суетись, слышь! — отталкивает меня Аслан. Крупный кадык его неприятно ходит под заросшей чёрной щетиной кожей.

— Да что такое?

— Та подожди, слышь!

Раздаётся щелчок. В руках Аслана появляется нож: “финка”, “бабочка” — не знаю, как назвать его правильно. Да и какая разница, если у всех лезвие при должной выучке проникает в выбранную плоть так, как удар наносящему надо? Точно в красные чернила перо макнул.

Да уж, вот и подмога. И что теперь делать в эту закупоренную безответностью ночь?

Удивительно, но пока Аслан пугает меня ножом, страха, вяжущего, как часом ранее, при встрече с мужиком-мумией, нет. Его заслоняет уж совсем неуместный, молодцеватый элемент игры, словно я герой из тех боевиков, что храню и пересматриваю на видеокассетах. Но когда Казбек — мелькает почти анекдотичная мысль: “Понаехали!” — даёт знать, что у трупа нет ничего, совсем ничего, зачем только шли, адекватное восприятие реальности возвращается. И смердящий бездомной псиной, облачённый в чёрную кожу страх с глазами цвета нового, чистого серебра тянется к моим губам. Редкие машины становятся совсем уж далёким фоном. Но я вспоминаю одну из них — чёрное “БМВ”, за рулём которой человек-сфинкс бередил мою память.

— Ты чо нас сюда тащил, слышь? — прессует меня Аслан.

— Но...

— Чо но, а? Чо но?

— Слушайте, но... — у меня не выходит ничего другого, кроме как “нокать”.

— Тебе за простой платить, слышь? — Аслан смеётся над своей как бы шуткой.

— Да, слышь? — подключается Казбек.

И если у Аслана смех, на удивление, особенно для таких обстоятельств, мелодично-приятный, то у него — гроыхающе-букающий, словно картошку в ведро бросили.

— Но человеку...

— Ты за себя думай, братишка...

И вдруг мысль: так ведь и зарезать могут. Даже не за просто так, а потому, что помочь хотел.

— Как будем решать, братишка?

— Как? — глухо повторяю за ним.

— Э, ты чо, меня дразнишь? Ты чо, дерзкий, что ли? — Аслан бодает меня головой, но удар смазывается. Хотя всё равно тоскливо ноет челюсть.

— Я не дерзкий, я не знаю.

— Мобильный дай, слышь!

Достаю злосчастную “Nokia”. Connecting people by gor-stop. Скольких людей она соединила вот таким образом? Но если бы заряд батареи был чуть выносливее, то этого пожара не случилось бы. Надо писать жалобу в центральный офис, в Хельсинки. Писать, если останусь жив. Мысль свежая, паническая, по слогам — “ес-ли ос-та-нусь жив...” — вклинивающаяся в мозг, чтобы подкосить, размягчить естество страхом.

— Это чо за дерьмо, братишка?

— Мобила!

— Слышь! — Получаю болезненный удар от Казбека под дых. Сбиваюсь на крик:

— Да, говорю же — мобила! Моя мобила!

— Э, чо орёшь?

— Какая нах мобила? Вот мобила! — Аслан тычет мне в лицо серебристым айфоном.

И где только такие персонажи берут деньги? Хотя, да, глупый вопрос, учитывая то, что сейчас происходит.

— Лопатник дай, слышь!

Покорно — у, как я ненавижу в себе эту покорность! — протягиваю ему бумажник.

— О, кожа...

Казбек довольно вертит в узловатых пальцах бумажник, но вскоре сытое выражение стягивается с его лица. Аслан, поигрывая ножом, следит за мной. Казбек потрошит бумажник, выбрасывает на асфальт визитки, карточки, вкладыши, ищет деньги — и не находит. Как вовремя я оставил вчера жене кредитку! Эта воодушевляющая мысль — единственная из приятных за последний час — утихомиривает, внушает.

— Э, лаве дай, а!

— Нет у меня, — неожиданно спокойно говорю я. — Были бы, чего бы я суетился?

— Не умничай, э.

— Карту давай, слышь!

— Нет у меня кредитных карт, сами же видите.

— Э, стой, понял? — толкает меня Казбек и принимается обшаривать карманы. Я инстинктивно дёргаюсь, но Аслан подносит нож к горлу.

— Стой, братишка!

Казбек сплёвывает на асфальт:

— Пусто. Э, ты лох, слышь?

— А я тебе, — тычет кавказец по направлению к площади Суворова, — чо там базарил?

— Слышь, ничо ты мне не базарил!

— Базарил! — они переходят на свой язык и на минуты забывают обо мне.

Я мог бы броситься прочь. Но, — голос обвинителя во мне сух и чеканен — измотанный треволнениями, переездами, алкоголем, я слишком вял, невитаелен, особенно по сравнению с этими блестящими, как их раскидной нож, кавказцами, вперывающимися друг в друга взглядами ониковых, искрящихся глаз.

— Снимай ботинки, — вдруг, улыбаясь, заявляет Аслан.

И я обалдеваю. Проваливаюсь во что-то смрадное, топкое. Ноги бездвижны, но руки ещё цепляются, не сдаются, хотя в запястьях, в локтях — ноющая обречённость.

— А ну! — плотным ударом подгоняет меня Казбек. Я ведь сам, своим поведением напоролся на них, подставив мягкое, незащищённое брюхо.

Всерьёз меня били только однажды. Я возвращался домой через Малахов курган с закончившегося как надо свидания, дул тёплый, ласковый, будто свежееиспечённый хлеб, ветер. Они вышли из-за серой, исписанной названиями рок-групп пушки, начали разговор с банальности. Я понял всё сразу и развернулся, чтобы бежать, но левая нога поползла на чём-то скользком, и через мгновение они уже навалились на меня, упавшего. И принялись молотить. Без особой цели, без конкретных претензий. Просто чтобы проверить себя, развлечься, унять зуд в юношеских кулаках. Тогда мне сломали ребро, и отец, багровея одутловатым, вечно сердитым лицом, грозился найти ублюдков. Даже подключил к поискам товарища по милицейской академии. Что дальше — я не знаю; отец не вспоминал, но был удовлетворён и спокоен.

И вот снова — серьёзная вероятность быть избитым. У парапета, на котором добавленная в серый бетон щёбёнка кажется выбитыми зубами. И два прессующих меня кавказца могут добавить к ней реальных стоматологических артефактов.

— Ботинки давай, слышь!

— Братишка, давай, а?

Они не играют в злого и доброго. Потому что в принципе далеки от подобных категорий. Они такие, как есть. Ни отнять, ни прибавить.

А меня бьёт крупная звериная дрожь. Кавказцы чувствуют её. Потому что они хищники; не случайны эти меховые воротники кожаных курток. Надо дать им, гиенам, то, что они требуют. Наклониться, снять ботинки. Так будет легче. И, может быть, безопаснее.

Развязываю чёрно-белые шнурки. Пальцы будто заковенели, хотя на улице, пусть и тянет зябкостью с моря и от земли, плюсовая температура.

— Молодец, братишка.

— И ремень, э, ремень давай, — суетится Казбек. Этот ублюдок из тех, что снимет с человека всё — от носков до зубных коронок.

— Хорошо, — шиплю я.

И стягиваю ремень с массивной бляхой. Свернуть бы его, намотать на руку. Влепить по щетинистым чёрным мордам. Но нет — не быть мне сева-стопольским Брюсом Ли. Протягиваю ремень, ботинки кавказцам. Казбек забирает вещи, а я ещё больше дрожу от этого продлевающего падения в страх.

— Кому, сука, стучать будешь?

— Что?

— Базарить кому нах будешь?

— Ментовку, слышишь, хотел вызывать, — встревает Казбек.

— Да, слушай... — чешет тупым краем ножа щёку Аслан.

— Ссучит, — настаивает Казбек, и я, леденя, догадываюсь, на чём.

— Э, подожди, слышишь, — Аслан подходит ко мне вплотную, обдавая укусным запахом, — между нами, да? Чтобы без проблем, братишка. Или... — он ножом показывает на лежащего мужика.

— Да, да, конечно, — донельзя энергично в своём подобострастии киваю я.

— Ну, — Аслан кивает Казбеку. Тот недовольно покачивает головой.

— Никому, нет, вы даже не думайте, правда, — тараторю я, разве что танцевать и фокусы показывать не готовый.

— Договорились, братишка.

И тут же я выдыхаю:

— Гх! — сперва не понимая, что произошло, скрученный тошнотой, болью.

Похоже, коленом по яйцам, сука, ударил.

— Ты отдохни, отдохни, братишка, — посмеиваются кавказцы и удаляются прочь.

А я оседаю на холодный парапет. Центрифужит живот, и ощущение такое, словно кровоточит нутро. Но невыносимее, отвратнее всего — тяжесть, давление в плечах и затылке.

Хочу прекратить всё это. Как можно быстрее. И так, чтобы навсегда.

Ярость подступает к горлу, просится наружу. Дать выход ей и разнести весь этот мир в щепки, раскромсать, разодрать его на лоскуты. Такова моя реакция на унижение. Не стоит винить себя. Никого не стоит. Ничто ничего не стоит. Но, не выдерживая, алкая сбросить отчаяние, пинаю лежащего мужика.

Он вдруг дёргается в ответ. И я вместе с ним, от страха и удивления. Мужик шевелится, елозит по асфальту и, наконец, подставляет миру два влажных глаза. Пробует встать, но не находит сил. А я не нахожу слов, дыхания, и удивление постепенно вытесняет боль от удара скрывшихся в сева-стопольской ночи кавказцев.

III

— Эй, вы слышите меня, эй? — кричу я мужику. — Вы слышите?

В его смятении, потерянности есть что-то ещё, кроме сотрясения или опьянения, что-то, засевшее расщелиной между ним и мной, между нашим взаимопониманием. Красная неоновая вывеска “Сердцеедок” несколько раз вспыхивает и гаснет.

Отрываюсь от парапета. Помогаю мужику встать. С первыми моими прикосновениями он мычит, замечает меня.

— Я хотел вам помочь!

Сейчас, когда мужик пришёл в себя, алкогольная вонь изолирующим коконом окружает его. Он взмахивает руками, показывает на уши, затем на рот.

— Что, что? — не понимаю я.

Он закатывает глаза, но не как-то особенно, а, скорее, привычно. Мычит, тыкает. И до меня, наконец, доходит: мужик глухонемой. Он не слышит, не воспринимает, не может объяснить. Киваю и для чего-то говорю, точно он способен понять:

— Да, да, хорошо...

Поднимаю его за плечи. Он соображает, принимает помощь. Покачиваясь, мутным оловянным взглядом обводит местность. Ему видится каменная стена с колючим кустарником, подсвеченная бледно-зелёным светом башня адмиралтейства. Дорога пуста, транспорта нет, и разрушенным белым червём лежит на ней разметка.

— Что с вами? Вы откуда? — ору я, и каждый мой последующий крик всё сильнее, всё громче. Словно от увеличения децибел будет польза.

Мужик, похоже, окончательно приходит в себя. Руки его ползут по одежде, врываются то в один, то в другой карман, ощупывают жадно. Лезут в трусы, копошатся там. И на сухом, скуластом лице его воцаряется спокойствие. Он давит из горла неполноценные, обрубленные звуки и начинает кланяться. Понимаю — благодарит. Мужик делает несколько шагов, оступается и чуть не падает. Подхватываю его, замечаю рваную рану на затылке. Крепко мужик приложился об асфальт.

— Надо “скорую”!

Усаживаю мужика на парапет. Штанины его убогих вельветовых брюк заправлены в растоптанные ботинки, и я вспоминаю, что стою на холодном асфальте в одних носках. Как только этот факт осознаётся мной, ноги сразу же коченеют. Представляется то один, то другой диагноз будущих заболеваний. Все они с гаденьким намёком на летальность.

А мужик тем временем тычет в голову. Да-да, киваю я, кружится, понимаю. И двумя указательными пальцами изображаю крест, обозначающий “скорую помощь”. Мужик напрягается. Я соображаю, что он мог принять изображённый мною крест за могильный. Нет-нет, машу я, и, попадая в тупик невербалики, завываю, изображая сирену. Показываю — звонить, позвонить надо. Мужик ощупывает карманы. Брови его стаскиваются к переносице, губы поджимаются, цыплячий пух на голове топорщится.

Нет телефона? Ага. Это понятно. Аслан с Казбеком не пропустили бы. Чёрт, что теперь делать? Не знаю.

Присаживаюсь рядом с ним. Ноги приговорены холодом. С бухты доносится несколько корабельных гудков и запах разопревшей древесины причалов. Дрожащий голубь пикирует на обломанную ветку. Зоб его тяжело раздувается.

Да сколько же можно, а? Когда кончатся все эти ночные скитания? Желание прервать их так сильно, что я ору, густо замешивая крик на брани. Вскликаю и, раздирая носки о кустарник, вываливаюсь на дорогу.

Пусть сбивают! Пусть бьют! Пусть давят! Но кто-то же, кто-то вызовет эту долбаную “скорую”! Пусть забирают меня, мужика, пусть забирают всех нас!

Стою, вцепившись в остатки уверенности. Машина катит, бьёт в глаза фарами. Ору, разведя руки в стороны. Отчаяние моё тормозит, разрывает нутро. Я хочу домой, я хочу кончить всё это безумие!

Но водиле плевать на мои чувства. И, возможно, на жизнь тоже плевать. Хотя он всё-таки дёргает руль в сторону, и авто, на секунду забуксовав, объезжает меня.

Мужик отрывается от парашюта, машет, чтобы я возвращался назад. Шатаюсь, идёт навстречу. Я и сам хочу уйти. Это только в рекламе можно выпить “фанты” и тормознуть поезд. А у меня даже “фанты” нет.

Две фары, разбивающие темноту. Они почему-то кажутся особенно яркими. Шерстяной след тормозов. Я засмотрелся на мужика, а тут — такой шанс.

Дверь открывается. Появляется девушка. Волосы у неё аспидно-чёрного цвета, зачёсанные на одну сторону высокой волной, напоминающей конскую гриву. У девушки невероятно длинные ноги. Она стоит, перенеся центр тяжести на левую ногу, чуть отведя бедро. Ей бы ещё табличку, и будет, что та девица из уличных гонок: эффектная, будоражащая.

Но сейчас черногровая разъярена. Кричит, машет руками. И не страшно ей: когда ночь и два мужика; один без ботинок, второй с разбитой башкой. Или это даже забавно? В любом случае, надо бы что-то ответить — внятное, убедительное. А я всё ещё пялюсь на неё, не веря, что после всех неудач кто-то остановился. И даже в ногах становится теплее.

— Ты шо, щегол?

Доносит её вопль крылатый ветер.

— Простите... — классическое начало. Классически неудачное. Я замолкаю. Слишком важна первая, ударная, фраза. Почувствует страх, агрессию — заскочит в авто обратно, даст по педали газа. С испугу помчит так, что и мне понадобится нечто, обозначаемое двумя скрещенными пальцами. Стараюсь говорить как можно более добродушно. — Нам нужна помощь! Очень нужна! Мы...

Кто это — мы?

— ...нас ограбили. Нам нужно домой.

Нет, это мне нужно! А мужику необходим врач.

— Или нет — “скорая”. Да, позвоните в “скорую”. Пожалуйста!

— Я ментам позвоню! — кричит черногровая.

— Хоть ментам. Куда-нибудь, главное...

Слышу мычание рядом. Мужик подобрался ко мне. Вид у него собранный, но, несмотря на это, кажется, что передо мной блаженный, юродивый. Трудно объяснить словами, — а в жестах, как выяснилось, я совсем плох! — отчего так, но уверенность моя прочна, основательна. Мужик отчаянно жаждет что-то мне рассказать. Децибелы мычания, амплитуда взмахов его максимальны. Он тычет вверх, туда, где начинается Красный спуск.

— Алло, алло! — кричит в трубку черногривая. То, что она изрыгает из себя, принято называть “отборным матом”, но никакого отбора там нет — наоборот, слова валяются беспорядочно, что ни попадя.

Успеваю запомнить широкие золотые серьги в ушах черногривой прежде, чем, начав движение, спугнуть её. Она заскакивает в машину, хлопает дверью.

— Стой! Позвони в “скорую”! Стой!

Но уже фыркает мотор мышино-серого “Судзуки Свифт” — такую машину хотела купить жена. Черногривая, наверное, суетливо жмёт педали, дёргает ручку передач, шурудит ключом в замке зажигания, кляня себя за то, что остановилась, и ещё больше за то, что вышла. У меня есть всего мгновение. Броасаюсь, чтобы выхватить, забрать телефон. Но “Судзуки” делает несколько судорожных рывков вперёд-назад, будто труп для верности переехать хочет, и гонит по спуску вниз.

— Стой, сука, стой! — в истерике бьюсь я.

Какая же нелепейшая угловатая дурусть всё это! Какая раздолбанная сумятица! И разве стоило оно того, заигрывание ради спасения?

Мужик подходит ко мне, упаковывая в хмельной войлок. Кладёт на плечо руку. Касание его, физически неприятное, дёргает из конуры чувство брезгливости, но морально оно успокаивает, делая важным присутствие кого-то рядом. И то, что ещё недавно мужик сам находился в куда худшем положении, пусть и в ботинках, заставляет собраться.

Возвращаемся к парапету. Мужик жестикулирует, мол, идём вверх по дорожке.

— Что? Туда?

Он кивает: да-да. Показывает то на мои ноги, то на дорожку. Будто там есть спасение.

— Ладно, давай, — говорю я больше себе, нежели ему.

Пытаюсь идти как можно быстрее, чтобы трение между хлопком носков и хладьё асфальта стремилось к максимальному. Мужик старается поспевать, но через десяток метров вновь спотыкается, тычет в голову.

— Ещё бы, — зло говорю я в сцепленный сумраком воздух, — у тебя в башке — дырка, а ты чешешь, как Борзаковский...

Подхватываю мужика, пры его за собой. Вновь загорается красным вывеска “Сердцедок”. Щека моя от чего-то жжёт, пылает, точно после укуса.

“Для чего тащусь с ним? — мысленно бубню я, и сам же себе отвечаю: — Потому что машину поймать не удалось. И “скорую” вызвать тоже. К тому же, — продолжаю я, и есть определённая польза от подобных сношений с мозгом: отвлекает от ледяных, хворь гарантирующих ног, — он что-то знает, он уверен. Может, там есть телефон. Может, получится вызвать такси. Ну, или хотя бы согреться...”

Шаг мужика становится увереннее, и хоть моя рука вцепилась в его локоть, такой острый, что грозит прорвать ткань, но есть ощущение, будто это он, а не я, всё больше напитывает спутника волей. Ведёт, направляет. И цель наша известна лишь ему одному.

Поднимаемся на площадь Суворова, вдоль пятнистых клёнов, ветвями-лапами хищно тянущихся к проводам, чтобы в один момент зарваться, переусердствовать и быть срезанными коммунальщиками. Остановка перед нами пуста, и стеклянная боковина её, в которой прячется чёрно-белая фотография ветерана на открытым, добродушным лицом, разбита. Ползущие трещины — как напоминание о смерти. Стискивая локоть мужика, говорю:

— Идём!

Вновь себе, не ему. Он и так всё понимает. Улыбка трогает его изжёванные, тонкие губы.

По “зебре” мы переходим к памятнику Суворову. За ним — не заметил их в прошлый забег — чернеют широкие деревянные ворота, раньше служившие входом в рок-клуб. До женитьбы я проводил там субботы, и знакомые музыканты, вечно молодые и вечно пьяные, однажды разрешили подпеть на их концерте, но два десятка, наверное, слушателей дали понять: лишнего бездаря им на сцене не нужно.

У книжного магазина “Гала”, держащегося, несмотря на то, что книги в Севастополе — товар диковинный, не востребовавшийся, покупаемый в последнюю очередь, — сворачиваем в проход, ползущий навстречу брусчаткой вдоль увитой плетью стеной.

Вот он — городской центр. Это и есть истинный Севастополь. Любимый, родной. Прореженный, разрушенный войной, но фрагментарно сохранившийся. В его готических и классицистических зданиях, столь отличающихся от немых панельных девятиэтажек спальных районов, есть та самая мелодия, приносящая умиротворение, стоит только остановиться, прислушаться. Я и сейчас бы поступил так, отдавшись нежности ночи, но окровавленный мужик, необутые ноги и страх заболеть чем-то страшным гонят меня вперед.

Выше, когда кончится уютный проулок, стоит храм Петра и Павла, копия храма Тесея в Афинах. За ним, на спуске, поросшем акациями и каштанами, уютятся залепленные грязью и тоской нищие. Среди них — мы с женой носили им продукты и одеяла — много беженцев из Донбасса, людей заразительно несчастных. Наверное, окровавленный мужик тянет меня туда, в пахнущее мочой и рыбьими кишками убежище.

Но, миновав жёлтую ракушечную стену, вдоль которой высадили юкки, он сворачивает направо, ныряет в проход, оставляя позади гаражи, ради которых, похоже, и возводили стену, чтобы оказаться в уютном зелёном дворике трёхэтажного дома с колоннами. Перед ним — квадрат площадки, заваленной пахнущими сыростью листьями, опавшими с кряжистых дубов. К ней от дома ведёт узкая лесенка, поэтично увитая петунией, летом распускающейся нежно-фиолетовыми цветками.

В этом доме с колоннами, безусловно, хорошо жить. Здесь вообще надо жить, выходя на аккуратный балкончик рано утром, глядя, как троллейбусным кряхтением просыпается город, или поздно вечером, когда мерным рассеивающимся гулом убаюкивается даже самый непоседливый шалопай. И деревянный “козёл”, перепачканный краской, — впрочем, бывают ли другие, чистые, аккуратные? — не портит общей лепоты вида.

Подъезд у дома — только один, и мужик, отцепившись от моей руки, направляется к нему. Справа от металлической, бледно-синей двери я замечаю тот же рисунок, что и у магазина с продуктами: чёрный прямоугольник, а в нём — рыба и дверь. Правда, у этого изображения есть отличие: рыба наполовину заштрихована, а во второй её части — глаз, и вокруг, по всей площади, разбросаны другие, полые рыбы, а на двери начертаны греческие, так мне кажется, буквы.

Рисунок приклеивает меня к асфальтированной площадке. Ветер стихает, и воцаряется абсолютная, наполненная бесконечностью тишина. Теряю мужика, теряю дом, теряю в принципе ощущение времени и пространства, как бы сам заключённый в рисунок.

— Что это? — наконец, выдавливаю из себя, указывая на изображение.

Нахожу мужика взволнованным взглядом. Но он тупо смотрит перед собой, не замечая ни меня, ни рисунка. На тонких червячных губах его прилепился улыбка. Он шарится у себя в трусах, извлекает оттуда связку ключей. Пищит домофон, и мы входим внутрь. В нос бросается запах плесени, сырости, затхлости; вот он, главный недостаток таких домов. Тёмные коридоры — лампочки светят тускло — каменными лестницами ползут вверх. Я говорю:

— Вы здесь живёте?

Точно этот вопрос что-то значит. Но ведь и правда странно, что такой немного потрёпанный, немного травмированный, немного поизносившийся мужичок живёт в центре Севастополя, в элитном доме, пусть и лампочки в нём горят тускло.

Конечно, на мой вопрос нет ответа. Хотя в столь мистерию ночь может случиться, наверное, что угодно, но дабы глухие услышали, а немые заговорили — это уже полный сюр.

Мужик пробирается на второй этаж. На лестнице его вновь пошатывает. Перед дверью, у которой мы останавливаемся, — нагромождение ящичков и шкафов из ДСП. Позвякивает связка, шурудит ключ. И дверь открывается.

Запах приговаривающего одиночества наваливается на меня, и я не хочу заходить в неосвещённую квартиру, лучше остаться здесь, на площадке, рядом со скомканной половиной тряпкой. Но холод поднимается по ногам, и приходите втолкнуть себя в открывшуюся пещеру блаженного.

На меня тут же бросаются две кошки. Шипят, пробуют запустить когти, но как-то нерешительно, робко. Нет, свита Изиды, вам не справиться так со мной. Тем более, что мужик привычным жестом отгоняет их. Включает свет, проходит вглубь квартиры. Жестом приглашает меня, указывая направление.

Оказываюсь на тесной, вытянутой кишкой кухоньке, где одна из стен полностью занята когда-то светло-голубой, а теперь с желтовато-коричневым налётом жира и грязи мебелью. У вспучившегося старыми досками окна приложены кособоким стол с почерневшими, перехваченными скотчем ножками и два инвалида-стула: у одного из спинки вырваны планки, у другого распотрошена подкладка. Есть ещё раритетный пузатый холодильник с большой, в глубокой древности полированной ручкой — состарившийся однорукий бандит. Довершают обстановку разбросанные на красно-зелёном полу замызганные детские игрушки. Главным образом из-за них в резком электрическом свете кухня выглядит кладбищенски и даже зловеще.

Мужик заходит следом за мной. Мычит, протягивает банку чего-то тёмного, мутного. Сними крышку, показывает он мне. Я стягиваю синий пластик. Судя по убойному, ядерному запаху, идущему от тёмной жидкости, в ней наверняка есть спирт, а вот другие компоненты так просто не определить, но я думаю — тоже мне, знаток! — о чабреце и грецком орехе.

Глотни, показывает мужик, не бойся. Да уж как тут без боязни? Когда такая ночь, такая квартирка, такой жилец! И такой я... Пей, пей, не бойся!

И я решаюсь. Смердное пойло скребёт горло, но свою миссию исполняет, принося нутру тепло, сухость. А теперь, настаивает мужик — ноги. Что ноги? Он тычет пальцами то в мои носки, то в дурно пахнущую банку. Давай, давай! Что, что он хочет? Тепло! А, точно: растереть спиртом ноги!

Уже без раздумий, отхлебнув ещё, надеюсь, что пищевое отравление не столь опасно, как пневмония, стягиваю носки. На бледных ногах остаются синеватые, ворсистые разводы от грязной ткани, бывшей недавно единственной границей между мертвецким хладом земли и живым теплом плоти. Плеснув тёмной мути, растираю ею ноги, сперва не чувствуя ничего, но постепенно кровь отвоевывает меня у ледяного забвения.

Мужик мычит удовлетворённо. Похоже, я начинаю различать эмоциональную окраску издаваемых им звуков. Становится теплее, спасительнее, радостнее. Появляется чувство чего-то значительного, исполненного, быющего, как собаку по носу, бессмысленность бытия. Если бы ещё не жжение на щеке. И одно только осталось — позвонить. А после — мчаться домой.

— Где телефон? — как обычно я подкрепляю бессмысленные слова чуть более конструктивными жестами.

Мужик не понимает. Тычет в банку и на меня. Отстраняя его, пахнущего под стать тёмной мути, выхожу в коридор. Нахожу дисковый телефон на накренившейся деревянной полочке, прибитой к засаленной стене. Снимаю трубку, брезгуя прикладывать её к уху, оставляя воздушный зазор, но слышу лишь короткие гудки. Хотя телефонный провод в порядке, воткнут в нужный разъём. Нет-нет, машет последовавший за мной мужик.

— Не работает?

Вопрос мой риторический.

— Надо позвонить в “скорую”, милицию! Или — как там её? — полицию!

В ответ мужик начинает жестикулировать особенно бурно. Возможно, — только сейчас в мой тугодумный, подвисяющий мозг заваливается эта догадка — он, как многие глухонемые, умеет читать по губам. Надо просто артикулировать чётче, тщательнее.

— Мы должны, — произношу едва ли не по слогам, — вызвать “скорую помощь”. Ладно, без полиции, но “скорую” надо! У вас, — я для верности показываю на него, — разбита голова. Это серьёзно.

Он машет руками, сопротивляясь. Торопливо уходит на кухню. Возвращается с банкой. Трясёт ею, бултыхая мутную жидкость.

— Что, выпить?

Мужик кивает, отхлёбывает. Зазывает на кухню. Из дальней комнаты мяукают кошки.

“Беда не в том, что мы пьём, а в том, что не поднимаем пьяных”. Помню, Антон Павлович, помню. Но ведь часто беда ещё и в том, кого мы поднимаем.

— Нет, нет, — отмахиваюсь я, — мне надо идти. Жена, дети...

Мужик кислеет, уходит в тоску. Зря я ему сказал о жене, детях. Ведь он, судя по квёлой обстановке, скорее всего, одинок. Или всё дело в неотступном желании выпить, отыскав собутельника?

— Да, да, мне надо идти... простите...

Уже не так настойчиво, уверенно говорю я, не слишком понимая, куда и как идти. Нет ботинок. Носки валяются в кухне. От босых ног прёт спиртягой и, возможно, чабрецом с грецким орехом. Нет денег, нет телефона.

— Извините, меня ждут, простите. — Хотя надо бы объяснить: — Я видел, что вам плохо: вы лежали там, у парапета, с разбитой головой. Я думал, что... ну, в общем, я искал помощи, а тут эти долбаные кавказцы и какие-то странные, дикие люди, точно всем по хер, — я давно уже забыл о чёткой артикуляции, — и всё пошло не так. Без ботинок, без денег...

Делаю характерный жест пальцами, точно не слишком усердно добываю огонь. Мужик отхлёбывает из банки, кивает. Идёт в комнату, зовёт меня за собой. Но я не хочу, не могу двигаться. Весь прожитый день: поездки в автобусах, начитанные политы, пыльные кипарисы, кошачий корм на закуску, гонор и уязвимость писателя, человек-сфинкс, странные рисунки — вся суматоха дня придавливает меня монолитной плитой, на которой предприимчивые ребята уже выбивают даты.

Нужен сон, нужна передышка. И никаких прогулок, никаких людей рядом. Только растворившаяся во мне — и я в ней — тишина. Чтобы любимые вещи на теле, чтобы правильные слова в голове.

Мужик выходит из комнаты, отталкивая ногой кошек, вид у него, словно у азартного охотника, только что завалившего кабана: довольный, гордый. Лицо, скуластое, острое, как вьёвшимися страданиями, покрытое глубокими морщинами, перестаёт напоминать мумию — теперь человеческое влило в него, и глаза смотрят со смыслом и даже нежностью. В цвета свежей глины руках мужик держит пёстрые шерстяные носки. Кладёт их на телефонную полку, а рядом — несколько мятых купюр. Показывает: это тебе.

Не пересчитывая, беру деньги, сую их в карман, следом натягиваю носки. Шерсть, обычно досадливо раздражающая кожу, теперь приятна: она разогревает, возвращает к жизни. И для пущего эффекта я еложу ногами по вспучившемуся линолеуму.

Мужик удовлетворённо смотрит на меня. Приседает перед длинным облезлым шкафчиком с передвижной дверкой, где вместо ручки — дырка, за которую, вставив палец, необходимо тянуть. Отодвигает её, копошится — вижу запекшееся пятно крови на его затылке — и, наконец, торжественно промывчав, извлекает растоптанные коричневые ботинки, изнутри отделанные грязно-белым мехом, напоминающим грибовую поросль.

Похожую по степени раздолбанности обувь я, разбирая отцовский гараж, выкидывал на свалку, и она ещё долго валялась там, не пользуясь у бомжей спросом. Но сейчас предложенный вариант кажется мне великолепным. “Ещё и мех, прекрасно”, — думаю я, и чувство благодарности к киряющему ветхому мужику наполняет меня всего, до краёв, вытесняя волнение, раздражение, злобу. И больше нет жжения на щеке.

— Спасибо! — говорю я, натягивая коричневые ботинки. Они размера на два больше, чем надо, но толстые шерстяные носки почти заполняют свободное пространство. — Прекрасно! — совсем уж доволен я.

Смотрю на себя в мутное, заляпанное зеркало, приделанное над телефонной полкой. И кажется, будто что-то во мне переменялось, но я не в силах понять — что.

Мужик, отхлебнув из своей, кажется, не пустеющей волшебной банки, протягивает её мне. Я прикладываюсь, делаю пару наждачных глотков.

— Ну, — подхожу к двери, чувствуя лёгкий хмель от навалившегося тепла и выпитого алкоголя, — хорошо, что вот так. Слава Богу! Хотя “скорую” вызвать надо бы...

Мужик ухмыляется, мол, не переживай, братуха, не пропаду, и не такое мне на башку сваливалось.

— Ладно, тогда до встречи. Зайду. Возвращу носки и ботинки. Ну, и деньги, конечно, тоже, — я на всякий случай ошупываю карман, — в общем, свидимся.

Протягиваю руку, ладонью вверх. Мужик накрывает её своей, сухой, шершавой. Мы прощаемся.

Из площадки перед домом по-прежнему густо пахнет прелыми листьями, настолько сильно, что я ощущаю их влажную липкую плоть, лыщущую друг к другу. Наполняю лёгкие воздухом, выгоняя из них споры обречённости, затхлости, одиночества. С дороги слышится шум, но уже не такой чахоточный, осторожный, как ночью, а уверенный, наглый. Первые троллейбусы, потрескивая “рогами” о провода, осваивают маршрут, позёвывая сонными водителями, похлопывая распахивающимися дверьми. Город просыпается, город берёт своё. Утро подкрадывается, примеряется к людям, точно размышляя, чем встретить — порадовать или огорчить — и сколько молодости дня им отмерить.

Ночь на отходе. Одна из самых чудных, насыщенных в моей жизни. Но разбавленный сумрак ещё украшен отходящими звёздами. Странно они расположились на небе: одна половина его чиста, тёмно-сера, другая — в бледных, догорающих точках. Я иду туда, где ещё сохранились звёзды, думая о своём отражении в зеркале, пытаюсь нащупать, понять, что в нём переменялось. И вдруг кажется, что исчезла родинка, прилепленная мне старухой-ведьмой. Я трогаю щёку рукой, глажу её, но так и не могу окончательно убедиться в своей догадке.

Ничего, скоро я буду дома. И вот тогда многое станет ясно.